



Юрий МАНАКОВ

г. Мытищи,
Московская обл.

НЕ ЗАМУТИТЬ КОЛОДЦА НЕПОГОДЕ

ПОВЕСТЬ ОБ ОТЦЕ. ЖУРНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

ПРОЛОГ

Как сейчас помню теплый солнечный майский день 1965 года — праздник Победы. Около чугунной литой ограды отцы нашей дворовой ребятни. Кто стоит на асфальтовой дорожке, кто сидит на решетчатой изогнутой скамейке. Все веселы, смеются, позвякивают медалями, посверкивают орденами. И только у моего отца на клетчатой рубашке, кроме нагрудного кармана и светлых пуговичек, ничего. Помню, как я побежал тогда домой,

потому что не мог этого вынести, забился в угол между диваном и окном, где стояли в ряд мои оловянные солдатики, пластмассовые пушки и танки, и заревел как последняя девчонка. Мама не могла понять, откуда мои слёзы: рос я упрямым, среди ровни был коноводом, слезу из меня вышибить не умели и старшие ребята. А здесь вдруг плачу навзрыд. И только когда в комнату вошел отец, видимо уловивший что-то неладное в моём поведении во дворе и вернувшийся домой, меня прорвало.

— Папка!.. А где твои медали, папка?! — кричал я на всю квартиру. — У других есть, а у тебя почему нету, папка?

Помню, как отец потемнел лицом, растерянно заморгал, отвернулся и ушёл из дома. Вернулся он вечером крепко выпивший. Пошатываясь, молча прошёл к себе и затих.

ЧАСТЬ I. РОДНЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. КОСМАКИ

Сельская бревенчатая школа-четырёхлетка, добротный крестовик раскулаченного и сосланного на север Урала крепкого хозяина и несговорчивого мужика Андрея Ильича Коростина. Светлое помещение с окрашенными белилами стенами и резными окнами оборудовано под классы. Уроки в две смены ведёт одна учительница: с утра скрипят перьями, обмакивая их в чернильницы-непроливашки, первый и третий классы; с обеда — второй и четвёртый. Третьеклашкам наемдни выдали новые тетрадки в сиреневых обложках, и теперь ребятишки старательно выводят слова диктанта. Учительница, сухонькая старушка в пенсне, занесённая в эту берёзовую и озёрную глухомань в первые годы революционного слома да так и прижившаяся здесь, медленно прохаживается между партами, диктуя. Тишина такая, что слышно, как осенние мухи с разлёту бьются в оконные стёкла; но тут начинается возня и шум у первоклашек за перегородкой. Учительница спешит узнать, что там, у малышей.

Чернильница рядом, места на полях чистенькой страницы вдоволь, чтобы нарисовать смешных человечков, можно сюда же поместить галок и сорок. Кустистые их гнёзда не так уж и давно, по весне, они с соседскими ребятами зорили, набирая полные шапки крапчатых яиц, чтобы потом сдать это богатство в обмен на леденцы и рыболовные крючки деду-заготовителю, что всегда в ту пору на старенькой телеге пригримывал в деревню. Сёмка так размечтался, что опомнился, лишь когда подошедшая сбоку учительница попыталась вырвать из рук его, а он, намертво вцепясь и сминая сиреневую обложку,

не желал отдать свою тетрадку. Чтобы проучить своевольного мальчишку, учительница недели две не выдавала ему тетради — ни в линейку, ни в клетку. Сёмка расчертил поля старых газет и на этих клочках решал примеры, записывал предложения.

Как-то под вечер, когда слабый ветерок доносит через раструбы улочек, сбегающих к озеру, голоса мужиков, выбирающих в лодки неводы с дневным уловом сазанов, карпов и карасей, посиживал Сёма на бревнышке и прутиком расчерчивал тёплую пыль.

— Сём, знаешь, что есть у меня? — подсел рядышком верный товарищ Алёшка Пичугов. Шмыгнув конопатым носом, он стрельнул глазёнками на две стороны улицы и заговорщицки прошептал: — Чекушка! Тятка уснул, а она укатилась под крышку голбца, я её и стянул. Айда, попробуем.

Горькую тепловатую жидкость Сёмка сглотнул, обжигаясь, разом; и спустя некоторое время — пил-то первый раз за свою десятилетнюю житуху — опьянел. Ближние избы, заборы, жёлтолистые березки, багряные клёны и яблоньки осветились каким-то нездешним, но всё равно родным и чуть-чуть, ну самую малость, грустным светом. И надо же такому случиться, по преображённой муравушке на противоположной стороне улицы идет злока-учителька.

— Ах, вот ты где! — Сёмка неверным шагом пересёк дорогу и с ходу выбил из рук растерявшейся женщины стопку тетрадей, исступленно выкрикивая: — Хочу учиться, хочу чиркать где хочу!

Очнулся он дома, на полатах. Попробовал пошевелиться, звякнуло железо. Осмотрелся, понял, что приковали его, покуда был он в беспамятстве, к толстому поперечному брусу, уходящему от русской печи в паз бревенчатой стены, и одному, самостоятельно из этих оков не выпростаться. Сёмка глянул с полатей вниз, в избу, — там было безлюдно, оконца, выходящие в палисад, приоткрыты. Мохнатые, словно плюшевые, георгины и штaketник, отгораживающий усадьбу от деревенской улицы, освещены солнечными лучами слева — значит, утро. Свесив включенную голову с полатей, стал Сёмка ждать, не пройдёт ли кто из знаком-

цев. Минут пятнадцать улица была пустынная, и вот, озираясь, будто выискивая кого-то, показался Алёшка Пичугов. Сёмка радостно окликнул дружка, и когда тот опасливо перешагнул через порожек в избу, растолковал, где в сенях лежит топор, надобный для перерубки цепи. Били по звеньям так старательно, что щепы от бруса летела, и лунку надолбили с ладошку-ладочку, пока не смекнули: надо хотя бы кусок никудышной железки под цепь подсунуть. Как догадались, перерубили в три удара. Однако с рук-то оковы, не отворив ключом, не сдернуть. Похлопал Сёмка по накладным карманам висевшей в горнице на венском плетёном стуле материнской кофточки, вытащил гранёный ключ с полым отверстием и освободил кисти рук от замка и цепей. Закопав повреждённую цепь и замок на пустырьке за огородом, отправились друзья через деревню в березовый колок полакомиться сентябрьской костяникой. Дорога лежала мимо детских яслей, где работала воспитательницей тётка Капитолина, Сёмкина мать. Как она поглянула в окошко, всплеснула руками да и обронила нянечкам: «Посмотрите-ка, я его на цепь приковала, а он с неё сорвался». И пошла эта присказка гулять по деревне. И стар и млад остановят, бывало, Сёмку — и ну его расспрашивать, как, дескать, ты с цепи-то сорвался? А тому лестно такое внимание, да и ум детский прост и ясен, Сёмка и отвечивал, горделиво подбоченившись: «Меня и в тюрьме в цепи закуют, так я всё равно сорвусь и убегу!»

Эх, знал бы малец, что судьбу свою проговаривает, да вот близок локоток, а не укусишь...

Как бы там ни было, но с этого случая так и покатилося по деревне: кто бы где чего ни отчебучил, какую прокуду ни сотворил — все шишки Сёмке. Правда, и он хаживал с удалью да молодечеством в обнимку. То парни постарше подучат его: «Коль уж ты у нас такой бедовый, вымажи ворота дёгтем вон той неотдатливой девахе». Ей — известная слава, Сёмке — почёт.

А то в сеноуборочную страду, проходя ватагой мимо сельского погоста с полевого стана, опять же старшие подначат мальцов: а не слабо ли кому из мелюзги притаранить на похожалую дорогу крест с могилки? Кто не сдрейфит —

получит пачку махорки нераспечатанную. Ребятишки робеют, жмутся друг к дружке. Один Сёмка, не страшась ни темени, ни жутких уханьев ночной неведомой птицы, смело продирается сквозь заросли акации и волчатника и вскоре возвращается, волоча потемневший деревянный крест.

«...А не хочешь ли, Сёма, заработать коробку первосортных папирос? Принеси ещё один крест, но только чтобы с врезанной иконкой. Ну, шагай, ждём!..»

С первым светом, подоив коров и накормив ребятишек, топают на стан деревенские бабы. И вдруг посреди дороги, обложенные дёрном и рыхлыми комьями суглинка, их встречают кресты. Бабы — бежать обратно в деревню, но на полпути, запыхавшись, останавливаются, торопливо крестятся и раздумывают вслух: что, мол, это было, неужто мертвяки с космака убегли? Тут одна и вспоминает, как приметилла уже по темноте на задах своего огорода, что кто-то, схожий обличьем с Сёмкой, промышлял на морковных и огуречных грядках. Знать, и здесь его работа бедокурная!

Между тем парни постарше и мальцы полеживают на полевом стане в шелковистой тени берёз, покуривают себе и посмеиваются: что-то, дескать, долгонько баб с деревни нет. Но вот на просёлке показываются возбуждённые женщины. Перед бригадиром выступает известная своей крикливостью Маланья.

— Что бы ты подумал, Петр Игнатьич! Ведь нонешней ночью с космака сбежали упокойники. Скучно им там, в этой яме-то, народу живого не видят и не слышат. Так они даже и кресты с собой прихватили, и на чистом поле при дороженьке и поустроились.

После кошунственного номера с крестами Сёмку наказали штрафом на пять трудодней. Заработок подростка тогда, в середине тридцатых годов, составлял за день примерно 0,35–0,50 трудодня взрослых колхозников.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ПОПУТЧИК

— Сёма, поглянь-ка, машина к контро катит, небось, из района, — гла-

за Алёшки Пичугова восторженно горят, да и есть от чего: автомобиль в деревне в диковинку. — Бежим туда! Поди, разживёмся резиной на рогатки!

По хрустящей под валенками дорожке мальчишки выскочили со школьного двора и сноровисто обследовали со всех сторон полуторку — АМО. Сёмке повезло: слева под деревянным кузовом он обнаружил металлический ящичек, ловко развязал медную проволочку, приподнял крышку и перебрал гаечные ключи, болты, монтировку... Но заветной резины в ящичке не оказалось; а из колхозной управы уже выходят незнакомые мужики в овчинных тёплых полушубках и направляются к полуторке. Сёмка, прихватив из багажника три электролампочки, отбежал за угол и там притаился. Взревел мотор, и грузовик, взвихривая снежную пыль, укатил из деревни.

Назавтра в школе на перемене Сёмка дал одноклассникам одну из лампочек: вот, мол, глядите, что у меня есть. Ребятишки сбились в кружок, а тут незаметно подошла учительница и приказала им немедленно отдать ей эту вещь. На что Сёмка махнул рукой — у меня, ребята, еще две есть.

Утром следующего дня к Сёмке домой прибежал посыльный и потребовал, чтобы они с матерью срочно явились в сельсовет.

— Что же ты, Капитолина Андреевна, такого сорвиголову ростишь? — не поздоровавшись, начал неласково председатель Михаил Евстафьевич. — Давеча сообщили с МТС, что из машины, — она третьего дня была у нас, — на возвратном пути все инструменты и ключи из ящичка повываливались. А ночью буран сугробов таких намел, не отыщешь теперь ничего, не сберешь. Да и сдается мне, Сёмка твой очистил этот ящик, да испугался, что найдут-де у него эти железяки, и поскидал их на озере в прорубь. А вещи ой какие ценные, на МТС позарез нужные! Насчитают столь — ты за жизнь не расплатишься.

Дома получил Сёмка от матери добрую взбучку. Пока его пороли ремнем, он, стиснув зубы, молчал, когда же Капитолина Андреевна обессиленно опустилась на табуретку у обеденного стола и, обхватив руками голову

с выбившейся из-под ситцевого платка седой прядью, приглушенно всхлипнула, Сёмка зло, по-взрослому бросил, что из дома он всё равно сбежит. Тогда-то и была определена ему в сторожа нанятая матерью деревенская побирושка Анка Шубенка. Теперь Сёмка лишь в ее сопровождении шествовал в школу. Там она караулила в коридорчике на низенькой скамейке, греясь у печи-голландки. В обед под тем же присмотром — домой. Старушка оказалась цепкая, глазастая, репей, да и только. Но и Сёмка — не промах, удумал, как избавиться от охраны. Январским морозным вечером, лишь стемнело, он попросился у матери сходить «на двор», а уборная находилась в теплом пригоне, где зимовала домашняя скотина и птица. Анка Шубенка осталась за порогом хлева; подмораживало, она прохаживалась, был слышен скрип её стареньких валенок. Сёмка быстро пробежал к противоположной стене, где, отогнув висевшую на оконце металлическую сетку от веялки, вынул раму и ящерицей выскользнул наружу. Их огород примыкал к озеру, по льду которого он перешёл в соседнюю деревню Пески, где первый год учительствовала старшая сестра Мария.

— ...Что-то ты, Сёма, поздновато нынче. Мама, говоришь, отправила тебя за валенками в Могильное к пимокату и деньгами наказала снабдить... Да ты грейся, вот уже и чай из душицы и смородиновых листьев поспел. Почаёвничаем и будем укладываться спать, путь-то неблизкий, двадцать вёрст, да ты у нас ходок известный. Помнишь ли, как мальцом в Скоблино ходил? — сестра нежно погладила подростка по вихрастым волосам. — Наделал ты нам переполоху. Тятя тогда еще жив был, он всю округу взял на Гнедке, коня запалил.

* * *

...Через открытое в палисадник окошко в горенку струился мятный запах созревающего лета. Пётр, русобородый ширококостный мужик пятидесяти лет, сидел за столом, убранном белёной холстиной, и водил узловатым пальцем по странице, усыпанной церковно-славянской вязью. Марфа, дородная жена Петра, негромко

постукивала деревянной и берестяной посудой за перегородкой в кути. Был полдень. Вдруг эти обыденные звуки вытеснило частое звяканье. Кто-то неумело и настойчиво бил бронзовым кольцом в окованные железом ворота.

— Марфа, глянь, кто долбит с улицы?

Та, обсушив о передник руки, подалась во двор.

— Кто там? — спросила через ворота.

— Тён Тич Ков, — донесся сквозь толщу дерева и железа детский голос.

Женщина отворила. На деревенской улочке босой, с ботинками через плечо стоял их пятилетний племянник и ясными серыми глазами смотрел на Марфу. Она вышла на дорогу иглянула по сторонам:

— Сёма, дак это ты у нас Тён Тич Ков — Семён Лукич Манаков? А тятя-то с мамкой у кого из наших опнулись?

Мальчуган замотал русой головкой:

— Я один, тётя, сам пишел.

— Как сам! Двадцать вёрст лесом!

— Я доёгу знаю.

Тётка всполошилась, подхватила ребенка на руки и — бегом в избу.

— Петруша, запрягай Карьку, поедешь в Вишнёвку к Луке. Там, небось, уж с ног сбились, мальчонку утеряти. А я покуль Сёму накормлю да выведаю у него поболе, как это по глухоти он к нам добрался, ведь и поселя в таких чашобах ни единого не сыскать. Ох, Сёмушка, бедовый ты у Капитолины! Да ты ешь, оголодал за дорогу-то, дитятко. Здоровы ли тятя с мамкой? — переменяла было разговор Марфа, но не утерпела и снова: — Ты, Сёмушка, нас-то как отыскал? Был ведь единойды с родителями на Троицын день, а, поди ж ты, прибрал в память. Не боязно идти-то было. Небось, лешаки да ведьмаки из-под всякого кустика стращались? Тыфу ты, что ж я старая с языком своим!

Мальчуган в ответ лишь весело кивал, уминая густо заправленную домашним коровьим маслом пшеничную кашу, запивая её молоком из деревянного долблёного узорного стаканчика.

Меж тем Пётр приготовил бричку и вернулся в избу. Он сел на лавку сбоку от устья печи напротив племянника и постарался придать

своему широкому лицу суровое и строгое выражение. Но тут же тепло и с любовью глянул на Сёмку:

— Варнак ты, Сёмушка, однако ж. Как знал, что мы с Карькой застоялись да засиделись, давно пора промяться. Ты, Сёмушка, вожжами-то распоряжаться могёшь? — как с равным пошутил Пётр. — Марфа, управляйся нонче одна. Что — дак сынов кликни, пособят. Я буду завтра к обеду, коль вышел случай родню проведать. Идём, удалец.

— ...Маша, не расстилай мне. Я ухажу, ночь ясная, не так морозно. До света буду в Могильном. Там у дяди Васи обогреюсь.

Сестра знала, что старший брат их матери всегда рад племянникам; а еще Марии, как и всем деревенским, было известно, что лучше Сёмушки никто не знаком с окрестными сёлами и дорогами к каждому из них. Потому она спокойно завернула в чистенькую тряпицу деньги и, накинув на плечи шаль, проводила брата до калитки.

Отгостив день в Могильном у дяди, Василия Андреевича, Сёмка на попутных санных подводах под скрип полозьев доехал до железнодорожной станции.

Тамбур, куда пробрался Сёмка, был хоть и прохладный, зато безопасный, в хвостовом, последнем вагоне пассажирского поезда. В протаявших пятнышках заиндевелого дверного оконца убегали в морозную даль стальные рельсы. И уж сюда-то точно никакой контролёр не сунет носа: что себя знобить лишний раз? Однако одиночество было недолгим. На одной из остановок разжился Сёмка новым товарищем, да таким, что еще поискать. Горбоносый и лопоухий, с круглыми чёрными глазами Дамир захватываяще поведал Сёмке о своих многочисленных поездках и приключениях и так расположил того к себе, что дальше странствовать они решили вместе.

— Теперь у нас зима, холод собачий, поэтому, Сёма, давай-ка мы поедем в Ташкент. Я ведь там уже бывал. Теплынь, на базарах можно запросто стибрить хоть тебе арбузы, хоть дыни. А про абрикосы ты, поди, и не слыхивал в своей

деревне? — Дамир покровительственно усмехнулся. — Ничего, скоро я тебя угощу всякими фруктами. Держись меня — не пропадёшь!

Поезд начал сбавлять ход, вагоны дернулись и остановились. Путешественники прильнули к боковому оттаявшему окну. Огромный вокзал, каменные станционные постройки, ларьки со всякой снедью... Парнишки догадались, что они прибыли в какой-то большой город.

— Сёма, я лучше тебя разбираюсь в этих делах вокзальных, меня никто не проведёт. Но ты же видишь, какая на мне одежонка... Давай поменяемся — и тогда ни один легавый ко мне не пристанет. Жрать-то хочется страсть. Где там у тебя деньги-то? Потом, как добудем, я тебе всё верну.

Когда товарищ в овчинном полушубке, добротных подшитых валенках и утеплённых холщовых штанах растворился в привокзальной толпе, Сёма бегло оглядел свой новый живописный «наряд»: пальтишко в лохмотьях, шапка засаленная, с надорванным ухом, стоптанные ботинки на одну ногу, причём разные: один — 41-го, второй — 43 размера. Минут через десять вернулся Дамир, принёс в кулках конфет, пряников, булочек, карман оттопыривался пачкой дорогих папирос.

— Живём, братка! Вперед, в Ташкент!

В эту ночь впервые за дорогу Сёма хорошо выспался. А разбудили его пронзительные паровозные гудки и громкий женский казенный голос, объявляющий по репродуктору о прибытии какого-то поезда. Сёма открыл глаза, но товарища в углу тамбура, где тот с вечера устроился на ночлег, не увидел. «Наверно, снова ушёл купить чего-нибудь», — Сёма сладко потянулся, сел на полу и стал ждать Дамира.

Однако вместо закадычного дружка через некоторое время в тамбур вошли два сердитых проводника:

— Всё, шпана, приехали, станция конечная, — и вытолкнули мальчишку на заснеженный перрон, где его тут же на привокзальной площади Свердловска приметил дежурный милиционер и отвёл в детскую комнату.

А уже оттуда с группой таких же малолетних оборванцев Сёма был отвезен в детский приемник.

До мартовских оттепелей прожил Сёма в кельях с овальными каменными сводами. Еще недавно, при царском режиме, здесь был женский монастырь, теперь же в этих намоленных стенах обитали чуть ли не с самой революции беспризорники. Их вот уже вторую пятилетку отлавливали и определяли в эти пенаты с толстыми стенами и высокой оградой. Мыли, уничтожали насекомых, кишящих в грязных лохмотьях, кормили; узнавали адреса родных, если таковые имелись, и с одним из воспитателей отправляли юных пилигримов к местам прежнего проживания. Сёма еще при задержании фамилию назвал не свою, по бумагам он значился Иваном Петровичем Смирновым; а вот откуда он родом, от него выводили только спустя полтора месяца. Пожилая воспитательница с добрым русским лицом, чем-то неуловимо похожая на мать, терпеливо и непринужденно вела долгие беседы с Сёмкой. Он охотно отвечал на всякие вопросы, но о доме молчал.

Однажды Пелагея Филипповна, так звали воспитательницу, вдруг начала рассказывать о своих детских годах. Оказалось, что она тоже из деревни. Больше всего тронуло сердце мальчишки то, что деревня этой доброй женщины так похожа на его родную Вишневку, и на глаза сами собой набегали слезы. Он решил рассказать Пелагее Филипповне о старшем брате Андрее, служившем в рабоче-крестьянской Красной армии здесь недалеко, в Челябинске, и дать ей адрес воинской части брата.

— Как мне увидеть красноармейца Андрея Лукича Манакова? — обратился к дежурному на КПП сопровождающий — пожилой мужчина в драповом пальто и шапке-мерлушке и усмехнулся: — Вот «гостинец» ему привез. — Мужчина кивнул в сторону жавшегося в углу подростка в лохмотьях, правда, теперь это одеяние было чистым и подштопанным, но ботинки-то по-прежнему смотрели носками в одном направлении.

Дежурный отдал распоряжение посыльному. И вот уже через расчищенный от снега плац к пропускному пункту в долгополой шинели и островерхой буденовке торопится рослый и статный Андрей.

— Брат, ты как здесь и что это с тобой? — растерянно проговорил он, окидывая недоуменным взглядом Сёмку.

Вперед выступил сопровождающий и пояснил, откуда они прибыли и с какой целью. Андрей, оставив их на вахте, ушел к командиру доложить о том, что произошло, и посоветоваться, как быть в этой необычной ситуации. Вернулся он нескоро, но с радостным результатом: Сёмке разрешено побыть некоторое время в части при брате. Однако здесь случилось непредвиденное. В бумагах, что при сопровождающем, о Семёне Лукиче Манакове нет и буквы единой, а Андрей настаивает, что перед ним именно он, его младший брат. Долго они рылись в документах, пока Сёмка не догадался и не сказал: по записям он, мол, Иван Петрович Смирнов. Напротив этой фамилии и расписался Андрей.

Служба, что продолжалась для Сёмки неполных три дня, запомнилась ему на всю оставшуюся жизнь. Поселили его в небольшом кабинете, где из мебели стояли широкий стол и в углу — массивный шкаф. К вечеру брат приносил постелить в головах и укрыться три полушубка. В столовую Сёмка не ходил, паек дневальный доставлял прямо сюда. Кормежка пареньку понравилась, еще, наверное, и потому, что дома, в деревне, этого ничего не было. Днем Сёмка слонялся по расположению воинской части, иногда солдаты брали его с собой на стрельбище. Там он из безопасного укрытия наблюдал, как старший брат с товарищами поражали звучными выстрелами из винтовок фанерные мишени. Ту затрапезную одежку, в которой он прибыл, сразу же сожгли в армейской кочегарке, теперь он щеголял во всем новом и добротном. Где уж военные отыскивали такие опрятные штаны, рубашку, свитер и меховую борчатку, шапку-ушанку и серые, подшитые рифленой резиной пимы, в которых ногам уютно и тепло, об этом Сёмке никто не докладывал. Но то, что он в центре всеобщего доброжелательного внимания, это мальчишка ощущал все дни и ночи, пока они с братом не уехали в деревню. Андрею был дан пятидневный отпуск, чтобы доставить Сёмку домой, к матери, которая уже, наверное, все

глаза выплакала, ожидая вестей о сгинувшем в зиму сыночке.

И опять Сёмка у всей деревни на слуху. Взрослые посмеиваются да подначивают мальцов, у которых старшие братья тоже служат в армии: «Видите, Сёмка поехал и брата в отпуск привез. Теперь вам очередь, спросите у него, как до части быстрее добраться. Иль кишка тонка?»

От брата Андрея Сёмке досталось лишь однажды. Как только они переступили порог дома, мать, сидевшая на стульчике у окошка, выронила из рук прялку, глубоко вздохнула и, закатив глаза, повалилась на бок. Андрей в последний момент успел подхватить Капитолину Андреевну на руки. Он бережно проводил мать в горницу, там усадил на деревянную кровать и подложил под спину подушку. Сёмке приказал зачерпнуть воды и дать попить матери. У опаматовшей Капитолины Андреевны по щекам бежали слезы. Андрей вышел в сени, снял со стены кожаный ремень, вернулся в избу и, подозревая младшего брата, больно стеганул его. Это случилось в первый и последний раз, когда Андрей — а был он старше Сёмки почти на тринадцать лет — применил силу к младшему брату.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ИЗ ИСТОРИИ РОДА

Пращур рода Манаковых пришел в Вишневку, на берег округлого и рыбного озера, в пору, когда доблестный и трагический XVIII век добирал свои остатние годки. Допрежь Василий Максимыч жёг древесный уголь для демидовских плавильных печей в дремучих лесах у подножия Уральского Камня. Светло-русый волос, взятый в скобку, серые ясные глаза, косая сажень в плечах, приветливость, но никак не угодливость в речах... Словом, глянувшись пришелец селянам. Община отвела молодому мужику место под избу и нарезала у березовых заливов земельки под хлебушко. Недолго походил холостым Василий. Отыскалась ему и пара — статная и серьезная не по годам Настасья из Песков — избы этой деревни исстари гнездились на другом берегу. Сыграли свадьбу, роди-

лись сыновья: Максим, Варвасей и Захар. Род Манаковых деловито пускал корни и возвращал свое генеалогическое древо в южноуральской глуши. Сын Варвасея — Пётр — с женой Екатериной подняли и определили в жизнь восьмерых деток. Вот они в порядке рождения: Иван, Василий, Александра, Марфа, Настасья, Лука, Ефим и Михаил. Некоторым из них судьба выпала трагическая. Василия убили в 1906 году, — убили подло двумя выстрелами из ружья, встретив его на стыке улиц у подворотни, когда возвращался он с вечёрок. Накануне отвергнутый разбитой зазнобушкой местный богатей Баев застал восемнадцатилетнего парня у этой самой девицы, пробовал схватить Василия за грудки. Тот, не шибко размышляя, сгрёб соперника и выбросил в распахнутое окно прямо на прохожую дорожку, рядышком с цветущей и благоухающей черемухой.

От сурового и справедливого срока богатей-убийца откупился и уже через два года вернулся в Вишневку. Подпив, ввалился к тетке Катерине, ползал по полу, хватал ее за натруженные, разбитые извечной крестьянской работой пальцы. Винился, крестясь, клал поклоны перед божницей, умолял отпустить ему тяжкий грех. Женщина, молвив неслышно «Бог простит», выпроводила убийцу сына и в тот вечер уже более не проронила ни слова.

Однако подросший Лука решил все по-своему. Первый раз он встретил Баева у той самой подворотни. Мужик, опустив голову, хотел было прошмыгнуть незамеченным, но Лука, преградив путь, наотмашь ударил того в переносицу с бегающими под густыми бровями плутоватыми глазками. Баев кулем рухнул в пыль. Лука перешагнул через поверженного и ушел, ни разу не обернувшись. Теперь Баев стал панически бояться деревенских улиц, везде ему мерещился Лука, потому как любая встреча с ним заканчивалась для Баева кровавым падением в пыль. Отчаявшись, надумал Баев застрелить непреклонного Луку. Вызвал тропку меж плакучих берез у озера, по ней Лука обычно возвращался от песчанских товарищей, прилег за расщепленным корневищем и стал поджидать парня. Любовно поглаживая отполированное цевье, он предвкушал, с

каким наслаждением всадит в ненавистного Луку весь заряд двустволки, а потом разmozжит прикладом череп. И тут-то на него обрушилось сверху нечто, свет померк, ружье куда-то уплыло из ватных безвольных рук, а следом поплыл по воздуху и он сам. Правда, плыл он чуть более секунды, пока не ударился о ствол березы-вековухи; страшная, нечеловеческая боль пронзила все его тело, затрещали ребра, и, корчась, принял Баев мягкую волнистую траву под собой. Разлепив с трудом в кровавой пелене глаза, он усмотрел стоящего над ним и недобро усмехающегося Луку: «Кровь убитого тобой брата меня ведет. Так что не балуй!» Обезумевший Баев заметил в руках у парня свое ружье; сердце, торкнувшись, упало куда-то на сломанные, дико ноющие ребра. Поверженный мужик последним усилием сомкнул веки и стал ждать выстрела. Но раздался лишь сухой треск ломаемой древесины. Лука, взяв стволы в руки, разбил ружье о березовое корневище и бросил погнутые железки прямо Баеву в бороду. Затем он перешагнул через поверженного и ушел, как всегда, ни разу не обернувшись.

Если Василий похоронен на родовом погосте, где окрест лежат все свои, то чья земля приняла и упокоила косточки меньшого брата, Михаила, неведомо. Да, может, и вовсе не земная твердь, а морская пучина предстала пред очами воина-отрока колчаковского ополчения в тот маняще-пугающий миг, когда душа оставляет брненное тело и возносится ли в несказанные выси либо же обрушается на адовы уголья. Как ушел он в 1919 году с пылкой мечтой о единой и неделимой России, так и канул. Единственная весточка была от Михаила из-под Кургана. Вернувшиеся в деревню мобилизованные Колчаком обозники обсказали тетке Катерине, что сын жив-здоров и кланяется ей, тятё, сестрам и братовьям. А более этого из непросматриваемых по причине жуткой задымленности далее Гражданской войны ни голоса, ни крохотного лучика надежды. Мир праху твоему, Михаил, бескорыстный воин Белого движения!

Лука действительную воинскую службу проходил в Санкт-Петербурге, в лейб-гвардии Семеновского полка, ибо он соответствовал всем предъявляемым условиям: был грамотен, вы-

сокого роста, имел светлый цвет волос и пригожее лицо. Вероисповедание у Манаковых православное, старого обряда, относили себя они к беспоповцам двоеданского толка. Однако в делах веры не все здесь гладко и кругло, как на пасхальном яичке, и поэтому без пояснения повествование будет неполным.

Молельное каменное здание без каких-либо архитектурных излишеств возвышалось между околицами и напоминало скрепляющую пряжку, если деревни, облегающие озеро, представить в виде двух широких и неровных ремней. Хотя жили рядом и православные нового обряда, так называемые «мирские», но их здесь было считанные дворы, а высоченный кирпичный пятиглавый храм их находился в селе Таловке, в пяти верстах отсюда. Вообще, Манаковы — и приходец Василий, и сын его Варвасей — определяли себя сторонниками новой православной веры и даже приняли сильное участие в возведении храма в Таловке, в частности, оно заключалось в заготовке на сосновых делянах и подвозе на своих лошадях бревен на строительную поляну в центре села. Поручали вожжи и малолетнему Петруше, и он, подражая взрослым, покрикивал на тройку каурых, правя порожнюю подводу в сосновый бор. Но вырос Петр, полюбил Екатерину — дочь Федора Тельманова, девушку с тугой русой косой и открытым и ласковым взглядом. Празднично одетые, с рушниками, лентами, дорогими подарками переступили порог дома Федора Мартыновича сваты, начали было распевно и торжественно: «Вот купец наш молодец...» Но хозяин резко оборвал запев и сурово молвил: «Перейдет Петр в нашу, древлего благочестия, веру — будет ему Катерина женой. Нет — дак и мой ответ так же нет! Вот Бог, а вот порог». И, круто поворотясь могучим корпусом, удалился Федор Мартынович в горницу изучать далее псалтырь.

Так и перешел Петр с никонианской щепоти на исконное двуперстие.

Первенец Иван, Лука и Ефим, предпоследний из детей Петра и Катерины, хлебнули лиха отступления и торжества блистательных побед, а Иван еще и задыхался при немецкой газовой атаке на полях Первой мировой, называемой в

народе также второй Отечественной войной, а промеж большевиков и другого деклассированного элемента презрительно именуемой «империалистической». Напомню, что первой Отечественной русский народ назвал войну с Наполеоном в 1812 году. Ефиму посчастливилось участвовать в знаменитом Брусиловском прорыве, и, хотя он служил писарем, так как был не только грамотным, но и обладал каллиграфическим почерком, ему тоже пришлось в той мясорубке брать в руки трехлинейку и штыком и прикладом отбивать атаки осатаневших австрияков.

Вскоре после Февральской суматошной революции, весной 17-го, сельчане избрали вернувшегося с фронта Луку Петровича председателем сельского совета Вишневки. Сынишке Андрюше шел тогда шестой годок. Капа, как ласково называл жену Лука, подрабатывала белошвейкой, времена-то зыбкие — то война, то смута. В председателях Лука не засиделся. По натуре крутой, прямодушный, думал он наладить жизнь в деревне... Было у земляков к нему уважение еще с прежних времен: несколько лет учил деревенских ребятишек в местной церковно-приходской школе, в свое время фронт держал пред самим государем, в Первую мировую ходил в штыковую на швабов. А теперь вот надо бы направить в твердое и надежное русло вскипевшее бучило житья-бытья земляков. Однако народишко уже крепко избаловался. Поначалу баламутили по деревням пришлые смутьяны и шныри; местные голодранцы, потершись среди засаленных тулупов залетных пролетариев, чуть позже, после октябрьского переворота, сами вошли в темную и безнаказанную силу, а войдя, перво-наперво переизбрали в председатели своего, кровного, с кем перепито и наворовано столь, что никакого застолья не хватит, чтоб всё, смакуя, вспомнить. Не такой власти чаяли крестьяне, да плетью обуха не перешибешь, тем паче что и топорище, ручка коего упёрта в златоглавую, не простое, а самое разжелезно-безжалостное. Да и лезвие острое, лишь глянешь — обрежешься. А уж попадешь в круг его взмаха — не токмо своей головушки не сносишь, но и деток малых, и близких родичей не сбережешь.

Отстранился Лука от общественной коловерти, дни и ночи пропадал на летнем займище, что пригородил еще до смутных времен у лесного, обросшего прямым и звонким камышом, рыбного озера. Здесь он холил и лелеял свой табунок, насчитывающий породистого, с мускулистой грудью и высокими беспокойными ногами жожака-жеребца, трех кобылиц, двух покладистых меринов и трех игривых стригунков. Управлялся Лука в одиночку, изредка прибежал из деревни быстроногий Андруша порыбачить с плоскодонки в камышах да когда подсобить тятке сгрести подсохшее сено. Силы Лука имел запас изрядный. Так, он единственный на несколько окрестных деревень мог без особой натуги перебросить двухпудовую гирию поверх въездных ворот, под перекладиной которых свободно проезжала лошадь с возом сена. Или в хлебоуборку, когда крестьяне ссыпали некоторое количество своего зерна в общий амбар и, чтобы доверху заполнить хранилище, затворяли широкие двери и приставляли пологую деревянную лестницу с перилами к высокому чердаку с просторным входом, Луке клали на спину крест-накрест три мешка с пшеницей, и он легко взбирался с этой десяти-, двенадцатипудовой поклажей на чердак. Это не было бахвальством, просто ему так сподручней, да и разгрузка шла быстрее, а значит, и подъезжающим на подводах сельчанам меньше томиться, ожидая своей очереди на сдачу резервного зерна.

Или еще случай, свидетелями которому стали мужики, вывозившие в тот сентябрьский день сено. Известно, что весной два ведра воды — ложка грязи, а осенью ложка воды — два ведра грязи. Проселок развезло. Крестьяне правили своих лошадей с возами ближе к обочине, где потравянистей и меньше глины наматывалось на тележные колеса. Уже показались за березовыми стволами крайние овины, обозу осталось сделать последний нырок в пологий ложок — и дома. Но в этой-то впадине и крылась опасность: мутная растекшаяся лыбина — неопределенной глубины, а коли возьмешься ее объехать, крюк надобно давать версты в полторы. Мужики заробели спускаться в злополучный лог, один Лука спрыгнул с воза и,

ступая сбоку, стал вожжами править солового мерина вниз по дороге. Конь уже почти протаскил воз через лывину, Лука правил, перескакивая с одной подсохшей кочки на другую, и вот он, взгорок, и долгожданная сушь, но здесь-то и увязли выше втулки тележные колеса. Мерин, приседая и шарахаясь в оглоблях, пытался вырвать воз из хлопающей и чавкающей грязи, но не тут-то было. Тогда Лука, разувшись, поставил в сторонке бутылы, заскал повыше портки и босиком зашел в студеную воду. Быстро распряг и вывел из оглобелей мерина, привязал к одинокой ветле и вернулся к возу. Взяв оглобли в руки, он попробовал качнуть телегу, она подалась сначала вглубь лужи, потом Лука, напрягшись всем корпусом и нащупав босыми ступнями дно потверже, рванул воз вперед и, напряженно переступая ногами, медленно повлек телегу с сеном за собой на сухое место. Там он вновь поставил мерина в оглобли, бормоча себе под нос: «О, бедный ты, мой конек, вишь, как тебе оно, коль и я-то еле вытащил». Вообще, коней он любил до беспамяත්ства, рбстил их, нянчился, знал и норы, и повадки. Когда наступала пора объезжать молодого жеребца, привязывал того к вкопанному намертво посередке загона столбу и сбоку подходил с попоной и седлом. Ежели конь брыкался, не давал накиннуть на круп попоны, Лука откладывал сбрую, заходил к упряму спереди и, резко взмахнув рукой, наносил тяжелый удар кулаком по плоскому покатоному лбу жеребца. Животное падало на передние ноги. Лука стоял рядом. Через минуту конь приходил в себя, отфыркиваясь, он недоуменно вращал сливовыми глазами, которые постепенно наполнялись не только слезами, но и осмыслением того, что детство кончилось, хозяин теперь вовсе не шутит и лучше будет, если все его действия и команды станут непреложным законом. Обычно после этого жестокого урока коня можно было спокойно седлать и ехать хоть по деревне, хоть в березовые заливы. Но — только Луке, у остальных — как получится.

Бои братоубийственной войны не опалили смрадным дымом ни Вишневки, ни Песков. Наезжали конные казацки разьезды, реквизировали часть продовольствия и гужево-

го транспорта для нужд белой армии; спустя неделю-две вламывались красные, добирали, что сплеховали спрятать понадежней крестьяне, и, пьяненькие, с новыми революционными песнями, перекроенными из старинных, народных, отбывали восвояси. Большого урона не принесла и мобилизация. Деревни зажиточные откупались кто как мог и от красных, и от белых. Однако не сумели матери отговорить, а отцы убедить некоторую часть деревенской молодежи: подались самые горячие и нетерпеливые на обе стороны фронта гражданской междоусобицы, да и поскладали многие там свои буйные головушки.

Когда настал конец войне, не пришлось замиренье в кровоточащие сердца насельников российских. Коль образовалась трещинка в народе — будет и полынья, да такая ненасытная и охочая до людских судеб; расплзаясь, она поглотит и пожрет не только несогласных и чужеродных, а и тех, кто эту самую полынью-воронку промыслил и выпестовал. К последним можно отнести вылупившихся из лона кровавой распри коммунаров и комбедовцев. Недобрая слава о них долго чадила горелой головешкой. Им вменялось, что, позарившись на чужое добро, они стряпали дела на неугодных и несговорчивых, раскулачивали и середняков, и многодетных; им не простили односельчане, как в разгар экспроприаций, сведя с разоренных дворов восемнадцать крепких рабочих лошадей и заперев их без какого-либо корма в огромном амбаре, эти горлопаны и активисты по своему революционному обыкновению организовали грандиозную пьянку. Пока они без памяти безобразничали в большом, похожем на терем с высоким крыльцом доме арестованного и высланного на днях в Нарым вместе с женой и четырьмя детишками Пантелея Николаевича Четина, бедные запертые животные сгрызли в амбаре дощатые полы, но без воды долго не прожить, и кони пали. Слезы наворачивались на глаза у мужиков, проходящих мимо этого страшного узилища, когда слышали они жалобное ржание обреченных. Замок на дубовых дверях висел пудовый — не сорвать, к коммунарам сунешься устыдить — пристрелят спяну. Уже и без того в доме палили, вон

стекла побиты, на одном оконце рама свисает наружу. Услыхав стрельбу, бабы опасливо, но с потаенной радостью перекрестились. Думали, всё, аспиды порешили-таки себя. Ан нет, выяснилось позже, комбеды просто состязались в стрельбе из наганов по божнице. Да разве поразишь цель, коль руки ходят ходуном, а вся твердость выблевана на узорчатые половицы! Спустя неделю очухалась, протрезвела до той поры, чтобы без поддержки выйти во двор, окаянная новая власть и, пошатываясь, наведальась к амбару. Распахнули дубовые двустворчатые двери, в заросшие опухшие рожи пахнуло спертым запахом тухлого мяса. Власть поморщилась, выматерилась и, приказав крутившимся тут же прихлебателям очистить помещение от падали, пошла догуливать. Там за стаканчиком-другим она принялась с азартом обмозговывать, как, чем и с каких дворов восстанавливать эти непредвиденные потери.

Луки к упомянутым событиям в деревне не было: полгода как с семьей он выехал на заработки. Надо сказать, что и до отъезда Лука давненько был уж безлошадным: свой табунок он, скрепя сердце, распродал, насмотревшись еще в первые после октябрьского переворота годы на выкрутасы ошалевшей от неслыханного фарта голытьбы. Такой удачи — раскулачить самого Луку Петровича — он коммунарским в их прилипчивые руки не дал. Когда хмельной, вольной походкой шел он по деревне, калитки на нижнем — бахметовском — краю Вишневки (там обитали в кануны раскулачивания активисты) как по команде захлопывались и запирались на крепкие и надежные засовы. Все знали тяжелый и гвоздящий кулачище Луки Петровича, ведомо им было и то, что от пули он заговоренный еще с младых лет. Но все-таки исхитрились собачьи дети, отыскиали способ, как избавиться от непокорного земляка.

Зачин лета. Троицын день — этот православный праздник в Вишневке престольный. С окрестных деревень по старой, еще с царских времен навывке съезжаются сюда не только вся родня, а и просто веселые и разные люди. За овинами и полоской зеленеющей пшеницы, в березовом колке, устраиваются игрища, мо-

лодежь водит хороводы, мужики состязаются в силе и ловкости — это и бег наперегонки в мешках, и борьба на поясах, и кулачные бои до первой крови, и подъем, перенос тяжестей. Призами победителям в лучшие доколхозные годы отдельно, в уголку поляны богатым ворохом посверкивали на солнышке новые хромо́вые и яловые сапоги, тюки с шелковыми и атласными отрезами и ворсистым сукном, лагушки либо с медом, либо с пивом. Да и позже, даже когда уже опутал, но еще не удушил деревни зудящий чертополох недобрых перемен, люди старались держаться старины. Новая власть хотя сама и не принимала участия в праздниках, но сквозь пальцы наблюдала издаля за этими старорежимными потехами.

Лука и друг его закадычный Лабазуха, силач и гуляка, напротив, не проходили мимо ни одного состязания, откалывали такие представления, что долго потом вспоминались в округе. Однажды, даже и не доходя до праздничной поляны, заработали они лагун медовухи. У околицы, на обочине, с оных времен лежала невесть кем забытая неподъемная сосновая кондовая лесина. Толпа мужиков, что с песнями да прибаутками шествовала на березовую поляну, решила размяться и перенести могучее бревно на другую сторону дороги. И установили приз: как всегда, он был щедрым — двухведерный бочонок с крепким пивом. Разделились на команды, по шесть человек в каждой. Пока рядились, кому первому тащить, подошли подвыпившие Лука и Лабазуха. Узнав условия состязаний, вызвались вдвоем перенести лесину и добавили для затравки: мол, ежели не управимся, лагушок с нас. Мужики одобрили усмехнувшись и согласно закивали головами: кому лишняя выпивка, да еще в праздник, помешает? Ударили по рукам. Лука зашел с комля, Лабазуха — с другого края, крикнули, взвалили лесину на плечи, пошатываясь, перенесли ее на противоположную обочину и бросили в пыльную крапиву. Мужики оторопели, однако обещанный лагун выставили.

После одного из таких праздников, Петрова дня, маялся Лука похмельем, лежа на топчане в прохладном тенечке под навесом за избой. От калитки окликнули. Лука вяло отозвался. Ла-

базуха, поблескивая хмельными очами, подыедая окончания слов, сбивчиво сообщил, что коммунаские с утра заходили к нему домой, угостили вот самогонкой, предложили мировую, что-де им все волками ходить по одной улице. Давай, мол, сходи за Лукой, а мы покуда столы накроем у Вавилы Игнатьича. Закрепим, как положено, наше примирение.

Пока толковали, выискивая подвоха в предложении активистов, через двор прошел в избу Андрей. Теперь это был крепкий плечистый парень с внимательным взглядом широко посаженных спокойных глаз. Он поздоровался с Лабазухой и скрылся в дверном проеме. Лука махнул жилистой рукой: «Что с нами сбудется, того не миновать, пойдем уж, Михал Митрич. Отбиться всегда отобьемся!»

Их ждали. На завалинке сидели и курили, оживленно разговаривая, шестеро мужиков. Завидев приближающихся, они радостно и возбужденно поднялись навстречу Луке и Лабазухе: проходите, мол, в горницу, мы вас ждали. И, приглашая жестами гостей, первыми ступили на крыльцо. Стол действительно ломился от закусок и угощений, в запотелых графинчиках томилась холодная водка, в центре возвышалась граненая четверть самогоняпервача.

— Ну что, Лука, выпьем за мир в нашей деревне, — с чувством произнес главарь комбедовских Евгений Бахметенок, когда все расселись и стаканы наполнились горькой и прозрачной, как слеза, жидкостью. — Кто старое помянет — тому глаз вон, да и худой мир, сам знаешь, лучше доброй войны. Ну, будем!

Настороженность, с которой Лука переступил порог этого дома, постепенно таяла. Разговоры велись за столом как бы и ни о чем — так, о видах на урожай, о дождях, коим бы сейчас не время (страда вот-вот), потом разговор соскользнул на большую для крестьян тему объединения в коллективные товарищества и хозяйства, но все это толковалось невнятно и как-то вяло. И вдруг Лука приметил, что с каждой выпитой чаркой глаза хозяев наливаются не только хмельной поволокой, но и злобой. Он пробовал ногой придавить сапог сидящего рядом Лабазухи, чтоб тот хоть глянул в его

сторону, но товарищ так увлеченно доказывал что-то соседу заплетающимся языком, что Лука понял: Лабазуха ему не помощник. И точно, спустя минут пять напарник уронил чубатую голову свою в миску с недоеденным студнем и сладко захрапел. Тут и началось. Сидящий справа Евгений вроде как потянулся за пузатым графинчиком, чтобы наполнить опустевшие стаканы, но над столом перехватил графин за горлышко и попытался ударить им Луку по голове. Лука опередил: наотмашь ребром правой ладони он врезал Евгению промеж глаз. Тот рухнул, опрокидывая лавку. Через стол Луку хотел достать Сашка Кривой, но его Лука успокоил, резко выбросив вперед кулак левой руки. Алёшку Красного, что подвернулся тут же, он сгреб и легко перебросил через широкий стол прямо на расписной сундук у стены. «В избе тесно, надо во двор, уж там они попляшут!» — мелькнула бесшабашная мысль. Лука перевернул стол, краем глаза он увидел, как спящий Лабазуха отвалился под оконный проём; там он не на глазах — может, его и не тронут.

А вот и выход в сени, темновато, но — вперед, к свету. Однако в этот миг Лука почувствовал, что кто-то сзади бросил лавку под колени, ноги сами собой подломились, он потерял равновесие, и здесь враги навалились, стали топтать и бить коваными каблуками сапог, а низкорослый Витька Хлыщ изловчился и дважды ударил обухом топора по коленям лежащего. Последним усилием воли Лука приподнял свое избитое туловище над полом, перехватил чей-то метящий ему в лицо кулак, резко, двумя руками, рванул его на себя и тут же круто вывернул. Хруст ломаемых костей и визгливый истошный вопль слились воедино. Не обращая внимания на сыплющиеся сверху и с боков удары, Лука пополз к дверям, выходящим на крыльцо. Теперь его били припрятанными заранее скалками и железными курками от тележных колес, метя в окровавленную голову. Лука уже почти терял сознание, когда двери распахнулись и летний свет хлынул в сени. Удары ослабли, и сквозь пелену Лука услышал звонкие голоса Андрея и Фёдора — одноклассника и верного друга сына. Переваляясь на бок, Лука Петрович утер рукавом залитые кровью глаза и

стал лихорадочно наблюдать, как парни, сноровисто орудуя увесистыми колами, роняли на пол комбедовских. Загнав противников в избу, Андрей и Фёдор подперли дверь одним из колов, подошли к пытающемуся сесть Луке Петровичу, осмотрели, целы ли кости, и, бережно подняв избитого, повели его домой.

Целебными лесными травами и народными снадобьями отпаивала Капитолина Андреевна своего мужа. И наверняка поставила бы на ноги его, кабы не открылся у Луки Петровича туберкулез. Отбитые легкие его и без того были повреждены, когда в конце двадцатых выезжал он с семьей на заработки в Казахстан, на железнорудные карьеры. Восемь месяцев катал Лука Петрович тачку с рудой, работал в непродуваемой пыли на дробилке. Капитолина Андреевна определилась в прачки, перестирывала горняцкую робу, Андрей и Мария ходили в школу, что находилась здесь же, в рабочем поселке, прямо за бараком, в котором их семье отгородили угол. Четырехлетний Сёмка сразу по приезде перезнакомился со всеми жильцами не только в своем бараке, но и в двух соседних и чувствовал себя здесь как рыба в воде. Однако Капитолина Андреевна и сама не спускала с младшенького глаз, и старшим детям строго наказала приглядывать за Сёмкой в оба. А причиной тому был случай, приключившийся с ними на чугунке по дороге сюда, в Казахстан. Тогда на вокзале в Кургане сидели они всей семьей в многолюдном зале ожидания, коротая время до прибытия поезда. И вдруг по вокзальному репродуктору сообщают о том, что потерялся маленький мальчик и родителей просят зайти в отделение милиции.

— И куда только смотрят такие вот нерадивые мамы, — громко, с нотками негодования в грудном красивом голосе обратилась к соседке справа, но так, чтобы слышали и остальные, Капитолина Андреевна. — Сама, небось, дрыхнет где-нибудь на узлах, а ребенок в милиции. Ой-люшки, а где же мой-то Сёмушка?..

Капитолина Андреевна вскочила со скамьи, потерянно прижала сцепленные руки к груди и беспомощно обвела взглядом вокруг себя.

— Андрюша, Мария, бегите найдите тятю!

Нет, беги ты, Мария! А ты, Андрюша, постереги вещи, покуль я сбегаю к милиционерам! А вдруг это наш Сёмушка у них?

В отделении милиции пожарили заплаканную мамашу, наказали впредь не отпускать мальчика от себя, а тут и их поезд объявили.

Работа на руднике была хоть и тяжелая, но денежная. Все бы ничего, да изболелась душа и у Луки, и у Капитолины по родимой сторонуще; всякую ноченьку снились им гладь озерная, избы с резными наличниками, а в чистых просторных березовых колках алые грозди спелых ягод на кустах дикой вишни. Намаившись сновиденьями, собрались они однажды да и вернулись на родину. А там как раз в эту пору затевалось и набирало дьявольские обороты невиданное от веку злодеяние: обобществление, нивелировка, а затем и угробление самобытности, да и просто уничтожение физическое хлебороба-мужика, подмена русского кормильца интернационалистом-пролетарием.

За год угас могучий некогда Лука Петрович. Прознав, что он безнадежно болен, наведались к нему и вчерашние коммунары, заправили колхозных новшества и экспериментов. Дыша перегаром, просили активисты прощения у больного: дескать, бес попутал нас, Лука. Повинились мужики и сидящей тут же, в изголовье у умирающего сына, бабке Катерине. Старуха лишь скорбно и внимательно оглядела топчущихся у порога активистов и, тяжело вздохнув, отвернулась к окну, ничего не промолвив. Лука же в ответ слабо приподнял лежащую поверх одеяла правую руку и кивнул покоящейся на подушке седой головой: Бог, мол, простит, я вам не судья.

Но были, оказывается, судьи, помимо небесного престола, и в земной юдоли. Спустя пять лет Фёдор, верный друг Андрея, посреди деревенской широкой улицы принародно среди бела дня расправился с главарем и организатором избиения отца своего друга Евгеном Бахметенком. Ударами в лоб и в небритую скулу он сбил активиста с ног. Когда тот начал подниматься, потряхивая свалывшимися космами и выплевывая выбитые зубы, Фёдор извлек из-за голенища тележный курок и стал наносить

сокрушительные удары Евгению по голове, спине и плечам, громко приговаривая при этом: «Это тебе за дядю Луку!» Пять раз ударил Фёдор — за каждый год, прожитый Евгением после расправы над Лукой, поквитался. На десять лет лагерей за убийство осудили его. В последнем слове на суде Фёдор не просил снисхождения, а только обронил: «Я приму любой приговор. Пусть дядя Лука спит спокойно, он отомщен».

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. УХОД С ВОЕННОГО ЗАВОДА

Фёдор поквитался с Евгением в июле, а осенью вернулся из армии Андрей. Службу закончил он младшим командиром. Жизнь к тому времени в деревне пусть и со скрипом, но налаживалась, руководящие активисты либо замерзли по пьяному делу в предзимних лужах, либо за перегибы и по доносам товарищей по оружию были увезены в наглухо закрытых автомобилях НКВД в невозвратную ночь. Сельские пролетарии мелкого пошиба вроде Алёшки Красного, что прославился при раскулачивании своей неслыханной жадностью, когда он вырывал из-под сухоньких сеговласых старушек, по их немощи пристроенных на подводы, стеганные одеяльца и простенькие подушки, — эти тоже притихли, оттесненные выравнивающейся властью на обочину. Ни хлебной должности тебе, ни почестей.

Андрея приняли секретарем в сельсовет, а спустя полгода, видя его расторопность, открытость и старание, назначили председателем. Весной, в пору черемухового и яблоневого цвета, Андрей привел в дом молодую жену Антонину. Постаревшая Капитолина Андреевна, всплакнув, перекрестила и благословила молодых. Сёмка под присмотром старшего брата подтянулся в учебе, в восьмом классе вместе с ровесниками вступил в комсомол; не сказать, что уж сделался подросток паинькой, но озорничать стал меньше, за что первым в Вишневке среди сверстников был поощрен новеньким велосипедом с деревянной рамой. Для этого Андрей подкопил деньжат и специально съездил в райцентр Юргамыш за диковинной покупкой. По субботам, ближе к вечеру, из Песков

приходила Мария, попевала на остатний жар в семейной баньке — ее еще покойный Лука Петрович поставил на бережку озера, под вековыми ивами. Знатно после ядерной парной с духовитым березовым веничком и с хлебным кваском, наплесканным на раскаленную каменку, броситься с дощатых платцев в озерную глубину, широко раскинув невесомые руки; знатно после помывки, уже в ограде, чьяевничать до первых звезд, вспыхивающих в голубовато-сумеречном небе, и вести задушевные беседы с родней... А потом как сладко идти в избу по мягкой, щекочущей босые ноги муравушке...

Зимой Капитолина Андреевна слегла. Андрей Лукич привозил докторов из райцентра, те посоветовали отвезти больную в Юргамыш, там, дескать, при больнице больше возможностей остановить съедающую мать хворь. Полтора месяца лечили Капитолину Андреевну районные доктора, уже и дыхание стало ровней, и даже пусть бледный, но румянец обрела больная, обесцветшие было глаза вернули свою прежнюю живую голубизну. В каждый приезд сына мать умоляла Андрея забрать ее с собой в деревню. Так ей опостытели и палата, и микстуры, и томительное лежание, в то время когда за окном ликовала расцветающая весна и заневестившаяся земля звала Капитолину, дочь крестьянскую, чтобы та, как всегда, обиходила кормилицу, определила своей умелой рукой место под солнцем и зерну, и семени, и клубню.

В первый же день по возвращении домой попросила Капитолина Андреевна Марию и Сёму проводить ее в палисадник к цветочным клумбам. Там она присела на крохотную табуреточку и попробовала ножичком взрыхливать земельку вокруг пионов и лилий; но минуты через три у нее на лбу под выбившейся из-под платка седой прядью выступила крупная испарина. Она слабым голосом окликнула детей, и те проводили мать обратно в избу.

Капитолину Андреевну похоронили в конце октября, а спустя месяц у Андрея родился сын. До того времени, покуда племянник, которого называли Юрой, не перебрался из зыбки на пол и не стал ползать и протягивать ручки к находящимся в горнице взрослым, Сёма его будто

и не замечал. Но все изменилось, когда сноха Антонина вернулась в фельдшерский пункт, где она работала до родов, и теперь Сёма остаток дня после школы нянчился с младенцем. Первый шажок Юра сделал под доглядом Сёмы; да и сам Сёма уже с нетерпением ждал окончания уроков, чтобы забрать малыша из яслей и с весело лопочущим Юрой идти по затравевшей тропинке домой. Общий язык они нашли скоро, понимая друг друга с полуслова; да вдобавок Сёма обрел еще и навыки толмача, переводя в понятную родителям плоскость детский лепет племянника, когда «анти» — это всего лишь сахар, «кынки» — конфеты, а «бынди» — любимые Юрой семечки.

— ...Тоня, война!

Таким взволнованным и растерянным Андреева жена видела впервые за все послесвадебные годы. Она разогнула поясницу и выпрямилась над грядкой с редиской: это солнечное июньское воскресенье Антонина решила посвятить прополке.

— ...Я сейчас из сельсовета, там репродуктор не смолкает. Немцы бомбят наши города на западных границах. Я — на минутку, меня к ужину не ждите, если что, пусть Сёма принесет в контору к вечеру чего-нибудь горячего. — Андрей приобнял жену, поцеловал русский завиток у нее на виске и размашисто, по-военному четко выдерживая шаг, пошел от калитки по направлению к сельсовету.

Навсегда запомнил Сёма тот октябрьский блеклый денек, пересыпанный частым и нудным дождем. Притихшая родня провожала Андрея Лукича на фронт. Накануне он добился в военкомате, чтобы с него как советского работника была снята бронь. И вот теперь он во главе команды из десятка новобранцев со станции Юргамыш уезжал в Челябинск, чтобы уже оттуда в эшелоне отправиться на защиту Москвы. Перед отправкой зашли в столовую Дома колхозника, где мужчины выпили по стопке водки, а женщины пригубили по рюмке вина. Налили и семнадцатилетнему Семёну. Когда вышли на перрон, Андрей ласково взглянул на жену и запел свою любимую:

— *Что затуманилась, зоренька ясная,
Пала на землю росой?
Что припечалилась, девица важная,
Очи блеснули слезой?
Жаль мне спокинуть тебя, одинокую,
Жаль мне забыть про тебя.
Чару мне, чару мне, чару глубокую
Лей поскорее вина...*

Андрей Лукич взял еще стопку, молча выпил. Мария и сродные сестры заплакали. Семён насупил, сродные братья — сын Ивана Василий и сын Ефима Александр — потупили взоры. У них уже тоже были повестки на руках, через два-три дня — проводы. Антонина упала на грудь мужу и надрывно закричала:

— Андрюшенька, зачем ты нас покидаешь?!!

Андрей Лукич обнял жену, погладил по голове и, тяжело вздохнув, обронил:

— Ничего, Тоня, вы с Марией проживете. Ну, а ты, Сёма, горяхватишь.

И снова все — в слёзы. Один маленький Юранька, которого отец к тому времени подхватил на руки, смотрел на взрослых растерянными глазенками, не понимая, в чем же здесь дело, — вроде и не больно, а все плачут.

В начале декабря 41-го вызвали повзрослевшего Семёна в райком комсомола и предложили поехать по комсомольской путевке в городок Копейск на спешно возводимый военный завод. Пятнадцать добровольцев из Юргамышского района разместили в двух землянках. А там в углу — печь-лежанка, а на столбе, подпирающем продольную потолочную матку посередине низкого помещения, на штырьке подвешена керосиновая лампа со стеклянным колпаком. По обе стороны от столба — восемь заправленных лоскутными одеялами кроватей. Противоположную от утепленных, обитых войлоком дверей стену венчает подслеповатое оконце с толстым слоем наростшего инея: на дворе редкий даже для этих мест мороз в сорок — сорок пять градусов.

— Братцы, там опять мертвяков из соседней землянки вытаскивают и загружают в сани, на кладбище повезут! — прямо от двери еще в клу-

бах морозного пара взволнованно и торопливо проговорил Петька Романов, шуплый парнишка, тоже доброволец из соседнего с Вишневкой села Петровского. — Опять армяне, азербайджанцы и грузины из трудармии померзли. Ох же, неспособные они здесь быть! Одежонку-то видели, какая она у них, легкая да дырявая! И так черные, а поморозились, дак и глянуть страшно — как покорило да изъязвило их! Они и землянку свою за ночь выстудили страсть как. Ох, ребята, как оно дале-то будет! Мы-то будем ли живы?..

Сидевшие полукругом у жаркой печи парни невесело переглянулись, но разговора никто не поддержал, все сосредоточенно курили и смотрели, как Семён, открыв железную дверцу, шуровал в печке кочергой, расчищая место для новых березовых поленьев. Всего неделя, как прибыли сюда, а уже столь повидели, так тошно на душе, что хоть волком вой. И разве ж это подвиг — с утра до ночи катать тачки с комьями мерзлой земли или бесконечно перекладывать штабеля стылого теса! То ли дело в теплушке мчаться на фронт, а там уж так задать проклятым фашистам, чтоб пятки сверкали у них аж до самого что ни есть Берлина!

— А что, рожденных в 1923-м уже берут в армию... Весной и нам, 24-му году, идти. А куда давайте-ка по деревням обратно. Даже если поймают и осудят — так это всего на три-четыре месяца. Отбудем — и в армию!..

Уходить решились трое. А здесь и случай подоспел: начальство ожидало со дня на день какую-то важную комиссию; трудармейцы и комсомольцы отдалбливали лед с небольшого плаца с красным знаменем на флагштоке, подметали и расчищали территорию около землянок. Как стемнело, их построили и повели в баню на окраине Копейска — негоже обовшивевших показывать высокому начальству. Ночь хоть выколи глаз — ничего не видеть. Вышли за ограду военного завода, позади остались КПП и вышки по периметру забора. Улучив момент, Семён тронул за рукав тело-грейки Петьку Романова, тот коснулся плеча Николая Выходцева — и все трое канули в темень.

ГЛАВА ПЯТАЯ. ТЮРЬМА

На третий день, наморозившись в открытых тамбурах товарняков, достигли беглецы Юргамыша, а уж отсюда и до родных деревень рукой подать. В Таловку въехали на попутной подводе, здесь и простились, в три стороны разошлись заснеженные проселки, самая дальняя дорога в пять верст — у Семёна. С последними лучами скупого декабрьского солнца переступил он подоткнутый ворсистой дерюжкой порожек отчего дома. В жарко натопленной избе, застеленной толстыми домоткаными цветными половиками, у заиндевелого оконца на узорно окованном медью плоском сундуке, в теплых носках и шерстяной детской безрукавке сидел маленький Юра. Рядом с ним лежала на боку деревянная раскрашенная лошадка и выструганный Семёном незадолго до его отъезда в Копейск солдатик. Сноха Антонина, услышав, как хлопнула в сенях дверь, выглянула из кути, где готовила ужин, узнать, кто пришел, и изумленно всплеснула руками, перепачканными мукой:

— Сёма, как же ты?! Кто тебя отпустил?! Ничего убежал — это с военного-то завода? О-ох, Сёмушка, а у нас ведь горе! Горюшко-то какое!..

Антонина, тяжело и прерывисто всхлипнув, застонала и подалась вперед. Не успей подхватить Семён сноху на руки — она бы рухнула на пол. У парня в груди вдруг что-то лопнуло и оборвалось. Семён все понял. Он бережно провел рыдающую Антонину в передний угол к накрытому цветастой клеенкой столу и осторожно усадил ее на табурет. Быстро зачерпнул ковшиком свекольного квасу из бочонка у дверей и заставил сноху сделать несколько глотков, чтоб успокоиться и прийти в себя. Маленький Юра так обрадовался появлению любимого дяди, что слез с сундука на пол и побежал было навстречу тому, но все, что произошло только что, повергло мальчика сперва в растерянность, а потом и в слезы. Семён поднял плачущего племянника на руки и прижал к себе. Глаза у него повлажнели.

Придя в себя, Антонина поднялась с табурета, прошла в горницу, где взяла с верхней пол-

ки ажурной этажерки сложенный вдвое листок казенной серой бумаги и, вернувшись к столу, протянула этот листок деверю. Семён опустил с рук племянника и развернул письмо. «Командование части сообщает вам, что ваш муж Андрей Лукич Манаков героически погиб под Волоколамском, защищая подступы к столице нашей Родины г. Москве», — с трудом, сквозь туман слез разобрал написанное на похоронке Семён. И такая пустота образовалась в душе, так все немило стало парню, глаза высохли, но взгляд потух. С этим потухшим взглядом и ходил он неприкаянно по деревне все последующие дни. Придет, бывало, в контору, где у печки-голландки коротают долгие зимние вечера, обсуждая последние известия с фронта, старики, а возле них колготится и зеленая молодежь; председатель колхоза, припозднившийся здесь же, хромой Алексей Степанович Кокорин сразу к Семёну с вопросом: когда, мол, Сёмка, ты на работу выйдешь? На что парень равнодушно отвечал: не колхозник я, дескать, и в колхоз никогда не вернусь. Поворачивался к дверям и уходил в сумрачную морозную ночь.

Однажды вот так же бесцельно пробродил он до полуночи по утонувшей в сугробах Вишневке; наведаясь и в Пески, лишь потом, уставший, вернулся в дом и тут же уснул без сновидений. Очнувшись Семён от того, что кто-то, хоть и не больно, но настойчиво теребит его за уши: «Дядя Сёма, вставай. На, кури». Открыл глаза: это Юра, племянник, сидит у изголовья и протягивает ручонку, а в пальчиках что-то скрученное из бумаги наподобие папироски. Семён окончательно проснулся, бросил взгляд на пол, а там валяется комсомольский билет с вырванными страницами, одну из которых Юра, желая угодить любимому дяде, уже свернул в самокрутку. Семён быстро поднялся, собрал вырванные листки, расправил и вложил обратно в билет. Теперь надо ехать в райком комсомола, рассказать, как все было, поди, поймут и обменяют испорченный билет на новый.

Однако в этот же день, ближе к обеду, на пороге появляется посыльный и сообщает Семёну, что его срочно вызывают по какому-то неотложному делу в контору. Открыв дверь в

председательский кабинет и увидев за массивным, покрытым зеленым сукном столом самого Алексея Степановича и сидящего рядом пожилого мужчину в милицейской шинели и шапке-ушанке с кокардой, парень обо всем догадался.

— Ну что, Сёмка, в колхозе не хотел работать, так в тюрьме тебя заставят! Ужо не от-вертишься! — председатель самодовольно хохотнул. — Вот он, огурчик наш малосольный, товарищ милиционер. Берите, он ваш. Давай, арестант, грузись в подводу.

— Хорошо. Но и ты, председатель, запомни: я ведь когда-нибудь освобожусь, приеду и вторую ногу тебе вырву. — Семён широко улыбнулся. — Так что до встречи, Алексей Степаныч!

В камере предварительного заключения юргамышского райотдела Семёна встретили сникшие Петр Романов и Николай Выходцев.

— Слышь, Сёма, по-нашему-то не вышло: срок теперь — так меня следователь страдал — за побег с военного завода не четыре месяца, а от четырех до шести лет. — Петька сокрушенно покачал коротко остриженной головой. — Мы убежали 27-го, а указ вышел накануне — 26 декабря. Вот вляпались дак вляпались! Как выкарабкиваться будем? Еще следователь говорил, что судить нас будут показательным судом, чтобы другим неповадно было.

— Не переживай, Петруха, на суде мы попросим отправки на фронт, хоть в штрафную роту, скажем, что кровью искупим свою вину, — успокоил друга Семён. — Тем более с первых чисел января уже наш год призывают. Так что держи хвост пистолетом, слабаков на войну не берут!

Но судьбы в глухих френчах — дело рассматривалось в открытом суде чрезвычайной тройкой — не вняли детскому лепету подсудимых. Слушание проходило недолго, но сурово. Когда Семён попытался было вставить словцо о том, что вину свою они осознали и готовы искупить ее кровью на фронте, один из военных с изможденным лицом и запавшими то ли от бессонницы, то ли от хворобы какой глазами, зло усмехнулся: мы, мол, тебя и здесь помучаем. В ответ парень запальчиво бросил: посмо-

трим, кто кого, и вместо покаяния в последнем слове попросил у судей папироску. Зачитывал приговор все тот же изможденный: исприка-явшимся, потерянным Петру и Николаю дали по четыре года, а Семёна осудили на шесть лет лагерей, припомнив ему и дерзкое поведение в суде, и истрепанный комсомольский билет с вырванными страницами. Всю троицу по этапу увезли в Курган.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ПЕРВЫЙ ПОБЕГ

В тесной, переполненной заключенными, схожей с каменным мешком, воняющей никогда не стиранными портянками камере старой пересыльной тюрьмы на берегу Тобола Семён находился недолго. Его с группой таких же только что осужденных в колонне, под усиленной охраной, пешком провели на одну из городских окраин, где на пустыре готовилась стройплощадка для очередного эвакуированного с запада военного завода. Рядом, огороженная свежим высоким забором, с колючей проволокой поверху и с бдительными автоматчиками на вышках, серела правильными рядами палаток наспех сварганенная лагерная зона.

Работа здесь мало чем отличалась от той декабрьской в Копейске, только если там кормежка была сносная даже для военного лихолетья, то здешняя пустая баланда с плавающей сморщенной долькой мороженой свеклы в миске и мерзлой краюхой хлеба, испеченного пополам со жмыхом, ничего, кроме головокружения и поноса, не вызывала. Одно хорошо: зима заканчивалась и морозы не так донимали. Правда, и тепло в брезентовых палатках сберечь за ночь было мудрено, спали эки в телогрейках, ушанках, обувь тоже старались не снимать. Утром осторожно, хоть и поспешно, опасаясь поскользнуться в проходе меж нар на льду пролитой с вечера баланды, пробирались к выходу на лагерное построение. Все страшно чесались — неуловимые так называемые «окопные блохи» одолевали заключенных, мучили людей даже, наверное, больше, чем голод. Днем, во время изнурительной работы, как ни

странно, зудящий натиск насекомых ослабевал, тогда хоть можно было дух перевести.

В середине марта начальство лагеря смиловилось над зэками, договорилось с администрацией одной из близлежащих городских бань на помывку арестантов. Мыться водили партиями по десять человек, под охраной двух вооруженных карабинами конвоиров. Семён попал в предпоследнюю партию, уже когда на улице стемнело. Усилив конвойных третьим, решили все же закончить помывку в один день. Утомленные однообразием конвоиры лениво покрякивали на сгрудившихся у входа заключенных, объясняя им, что баня общественная, в ней сейчас моются, кроме них, и вольные. Мол, ваше место в раздевалке в углу, одежду с насекомыми складывать отдельно в специально припасенные кули; после прожарки, что здесь же, в кочегарке, сделают банщики, пока вы моетесь, разберете каждый свою; и чтобы с гражданскими ни-ни... «Шаг влево, шаг вправо считается побегом», — размягченно пошутил самый молодой из конвойных. Конвоиры сдвинули лавки у входной двери, здесь и свету от лампочки побольше, и никто незамеченным не прошмыгнет, посредине поставили табурет, достали потрепанную колоду карт и принялись резаться в подкидного.

Секунды хватило вышедшему в предбанник отдохнуть после парной Семёну, чтобы оценить свои шансы на побег. В тамбуре у входа охрана так распалилась игрой, что и голов не повертывала узнать, как там их подопечные; на скамье, ближе к выходу из предбанника, покуривал седобородый дед, поминутно утирая капельки чистого пота мохнатым полотенцем, сбоку от деда лежала холщовая сумка с бельишком, поверх нее покоился влажный березовый веник. Рядом на деревянной вешалке, прибитой к стене, висели полушубки, штаны, пиджаки, рубахи, а на крашеном, в мокрых разводьях полу стояли в ряд кирзовые сапоги и ботинки моющихся сейчас вольных. Семён неслышно проскользнул к вешалке, натянул на голое тело первые попавшиеся брюки, босыми ногами влез в подходящие по размеру сапоги, водрузил на мокрые, едва отросшие волосы чью-то шапку, набросил на голые плечи овчинный

полушубок, ловко и быстро похватал и запихнул в штаны скомканные свитер и ситцевую рубашку. Стараясь придать своей походке легкость и беспечность, он подошел к деду, уже собравшемуся уходить, небрежно подхватил правой рукой сумку, переложил веник в левую и с мольбой посмотрел ему в глаза. Тот понимающе кивнул, и они гуськом (дед — впереди, Семён — след в след) прошли мимо конвоиров. Те, увлеченные картежной игрой, даже и не посмотрели в сторону этих вольняшек в кургузых полушубках. На дворе подмораживало. Семён торопливо сунул деду банные принадлежности, благодарно кивнул и растворился в мартовской темноте.

В этот субботний день Мария пораньше отпустила ребятишек с уроков: в интернате топили баню и, перед тем, как идти домой, решила забежать к завучу за расписанием на неделю. В кабинете, кроме Анастасии Федоровны, на стуле сбоку от стола сидел незнакомец в милицмейской форме. Сразу закололо сердце.

— Мария Лукинична, с вами все в порядке? — заметив, как побледнела вошедшая учительница, обратилась к ней завуч и быстро переглянулась с худощавым милиционером, что-то внимательно изучавшим в бумагах на столе.

— Ничего страшного, Анастасия Федоровна, просто я, видимо, переутомилась сегодня, — рассеянно ответила Мария. — Пойду домой, отдохну, и все пройдет.

По раскисшей деревенской улице летела Мария, не чуя под собой ног. Вот и аккуратная избушка ее однокомнатная. Распахнула дверь и — точно ведь! — у печи сидит младший брат и курит, пуская кольца дыма в приоткрытую чужиную дверцу.

— Сёма, ты как пришел? Сбежал опять? — с плачем кинулась на грудь Семёну сестра.

— Да, сбежал.

— Куда ж я тебя дену? Ведь здесь, в Песках, милиция. Тебя они ищут, больше-то кого! — только и успела прокричать сквозь слезы Мария, как в дверях вырос тот самый, из интерната, милиционер и отрывисто бросил растерявшемуся Семёну: «Все, парень, отбегал, я тебя арестовываю!»

После долгих уговоров согласился Никита Алексеевич Лятин, как отрекомендовался мужчина, лишь только улеглось всеобщее возбуждение, произведенное арестом Семёна, оставить ночевать арестанта у сестры, взяв с Марии расписку о том, что, если Семён сбежит за ночь, сидеть за него будет она. Ночевать Лятин отправился в помещение сельсовета. Мария сходила в интернат, взяла у сторожа ключ от неостывшей еще бани, Семён помылся и переоделся в чистое белье. Поужинав картошкой с хлебом, легли спать. Впервые за два месяца Семён лежал на чистых хрустящих простынях в уютной кровати. Мария постелила себе на полотах. Однако за всю долгую ночь ни разу не сомкнули они глаз. Мария, всхлипывая, уговаривала и умоляла брата не убегать из тюрьмы, обещала регулярно навещать его в заключении, приносить передачи.

— Только ты уж, Сёмушка, терпи, может, и послабление какое выйдет тебе, ты же работающий, будь послушней, выполняй все приказы начальства. Я тебя никогда не оставлю.

Утром Мария охлопотала у директора интерната подводу, чтобы отвезти Лятина и брата до станции. Уже смеркалось, когда возвратила Мария уставшую лошадь с повозкой на конный двор.

Скопив за несколько недель матерчатый мешок сухарей, прикупив на последние деньги свежего хлеба и выправив отпуск на неделю, отправилась Мария пешком с котомкой за плечами за восемьдесят километров в Курган. Там отыскала тюрьму, спросила в окошечко у дежурного, нет ли среди заключенных Семёна Лукича Манакова. Тот куда-то сходил, вернулся и сказал через оконце, что, мол, был, да вот недавно отправлен по этапу на Север. Слезы навернулись на глаза Марии, не разбирая дороги, вышла она за тюремную ограду и, обессиленная, присела на прогретый апрельский бугорок с краю широкого большака. Чуть в стороне от ограды человек двадцать заключенных под недремлющим оком вооруженных конвойных копали траншею. Мария развязала котомку, достала хлеб и стала, отламывая от буханки ломти, подавать их тем экамам, что

были поближе к ней. Конвоиры только поглядывали, не препятствуя Марии кормить людей. Вдруг от них отделился показавшийся ей знакомым сухощавый милиционер и прямехонько направился к Марии. Это был Лятин.

— Здравствуйте! Вы, я вижу, к брату пришли?

— Да, но его здесь, говорят, уже нет.

— Как нет! Я только сегодня его видел. Пойдемте-ка со мной.

Лятин привел Марию в тесное помещение, где стояли продолговатый стол и две лавки (это была комната свиданий), и ушел. Через некоторое время молчаливый солдат привел грязного, оборванного Семёна.

— Сёма, а твоя одежда, что я тебе давала, она где?

— Сняли в первый же день.

— Братик, я вот здесь принесла тебе хлеба и сухариков. Поешь хоть.

— Маша, я возьму, поем немного, остальное ты отдай Лятину. Пусть он мне помаленьку выдает, а то, если в камеру понесу всю передачу, её у меня тут же отберут. Там такое шакальё — не отбиться.

— Так и сделаю, Сёмушка, как ты скажешь, только уж не убегай больше. Поймают ведь — хуже будет.

Семён молча кивал в ответ, но в глубине серых затравленных глаз брата она уловила какую-то отчаянную решимость и заплакала, всё поняв и испугавшись этого своего понимания. Всё равно, значит, уйдет, но ведь и подстрелить могут.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ВТОРОЙ ПОБЕГ

Весна 42-го на Южном Урале выдалась теплая, солнечная, она будто извинялась за лютую, с жестокими морозами и буранами зиму. Ласковое солнце щедро отогревало не одну лишь промерзшую землю, но и озябшие от худых вестей с фронта, надорванные потерей близких на войне людские души. В начале мая Семён опять в колонне заключенных был препровожден из тюрьмы в знакомый уже лагерь на окраине Кургана. Рядом с их зоной возвыша-

лись заводские почти достроенные корпуса, из которых был хорошо слышен шум работающих станков, а над широкими дверями каждого отдельного цеха висели красные транспаранты, и даже с лагерной вахты Семён мог, не напрягая зрения, прочитать известный лозунг: «Всё для фронта, всё для победы». Однако заключённых теперь на территорию завода не допускали, они, как и зимой, продолжали рыть траншеи и котлованы. Сегодня работы велись как раз в промежутке между заводской оградой и нефтебазой невдалеке, пузатые стальные емкости и резервуары которой, окрашенные в серебристый цвет, хищно поблескивали на солнце.

Траншея копалась легко, углубление было уже по колено, на бруствере росла светло-коричневая россыпь сухого суглинка. Время — к обеду. Сомлевший от безделья конвойный, стоящий метрах в десяти от Семёна, чтоб разогнать полуденную дрему, решил покурить. Он присел, поставил автомат прикладом на землю, сжав его для удобства коленями, достал кيسет с табаком, листок бумаги. Любовно завернув «козью ножку», сунул ее в щербатый рот под пшеничными усами и, отвернувшись от ветерка, что дул как раз со стороны Семёна, принялся чиркать о коробок спичку. Именно этого мига ждал Семён. Он резко выпрыгнул из мелкой траншеи и что есть мочи побежал, петляя, по направлению к нестерпимо сверкающим и слепящим глаза резервуарам с горячим. Всего единственную автоматную очередь успел выпустить вслед беглецу оплошавший конвоир, одна из пуль, чиркнув, обожгла мякоть обеих рук повыше кистей. Боли в горячке сумасшедшего бега Семён не ощутил, еще пару петляющих прыжков и — он в безопасности, в мёртвой зоне. Теперь уж наверняка выстрелов вдогонку не будет: ёмкости запросто могут взлететь на воздух, а тогда не поздоровится ни лагерю, ни заводу, взрыв будет такой, что мало не покажется!

Обогнув неогороженную пока нефтебазу, Семён, не сбавляя бега, пересёк измочаленный тракторными гусеницами пустырь и пропал в спасительном заболоченном березняке. Погоня с собаками пометалась на кочках этого болотца и потеряла след беглеца.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ГОРНО-ТАЁЖНЫЙ ГОРОДОК

Тетка Лизавета, крупная и подвижная старуха, подвязанная тёмным старообрядческим платком по самые острые и строгие глаза, только что выгнала подоенную корову с бусой тёлочкой за поскотину поселя Шаравка на сочный алтайский лужок пастись. Теперь надо процедить парное молочко в прохладные глиняные кринки и отнести их в погребок под разлапистой пихтой. Вскоре из-за скалистых пиков Ивановского белка взойдёт солнышко, с первыми его лучами подъедет на бричке Еремей и, как обычно, заберёт молоко да плетёную из дранки пестерюху, доверху наполненную матовыми свежими куриными яйцами, и отвезёт на городской базар на берегу говорливой Быструхи.

Вот уже десятый годок минул, как в одну из кромешных ночей погрузила Лизавета своих детей-подростков и узлы с немудреным скарбом на подводу, коей тайно снабдил ее младший брат покойного мужа Ивана — сельсоветский писарь Ефим. Он же накануне и оповестил потаённо, что со дня на день должны прийти активисты раскулачивать ее: больно уж глянулся пролетариям крепкий сосновый пятистенник, что срубили братья в канун мировой войны. Рассовав по родне, распродав за бесценок сытую и ухоженную свою живность, бежали они на Алтай, где, по слухам, давно уже и прочно обосновались единоверцы. Здесь, среди таёжных отрогов, в предместье рудничного городишка Риддера выросли и повзрослели дети, всё же город — это тебе не раздолбанная комбедовцами несчастная русская деревня. Здесь и заработки, да и хозяйство личное для своего достатка и удовольствия власти позволяют держать. Не ленись, не валяйся на боку — и будешь жить. Эх, кабы не война проклятая! Где-то сейчас Васенька? Отписывал, что-де под Ленинградом воюет. Как он там? Уехал-таки перед войной на Урал: на родину, сказывал, хочу, в деревню свою, к родне. И ведь какой боевой да настырный: дом у активистов отсудил, мы, говорит, не кулаки, и нас никто не раскулачивал, сами уехали с мамой за лучшей долей. И даже дом, как положено, заколотили досками

крест-накрест, замок на дверь повесили. Всё ведь помнит. А как же не помнить? В тот чёрный год было ему, слава богу, без малого пятнадцать. Старуха горестно вздохнула своим мыслям: «Ох же, война ты проклятушая».

Взлаял цепной лохматый Музгар, тётка Лизавета выглянула из летней повети посмотреть, кого там несёт. У калитки — плечистый парень. Улыбается. Правда, улыбка настороженно-выжидательная.

— Здравствуй, тётя Лизавета.

— Будь здоров, коль не шутишь.

— Не признаёшь?

— Может, где и встречались, да не припомню где, — что-то было неуловимо знакомое в круглом, с близко посаженными серыми глазами лице парня. Тётка Лизавета напрямки и рубанула: — Сказывай, чей будешь, что игры со мной играть!

— Семён я, Манаков, сын Луки Петровича.

— Да неужли ты уж так вырос, Сёмушка? Сейчас-то откуль, не с московского ли ночно-го? А нас-то как отыскал? Язык до Киева доведет, говоришь? Отворяй воротца да заходи. Что, так и будем через забор вести переговоры. Тётка Лизавета, обтерев о фартук влажные руки, радостно обняла племянника.

Вечером в Лизаветинской светелке собрались все оповещённые родственники. За столом главенствовала Лизавета, по лавкам и на мягком диванчике сидели её дети, старшие сродные сёстры Семёна: Агрипина с мужем Перфилием, Стюра и Катя. Разговор шёл о том, как помочь Семёну с документами. Двадцатитрёхлетняя Катя, работавшая секретарём пригородного сельсовета, обнадёжила брата, пообещав достать чистый бланк под паспорт и вписать туда все данные Семёна, но коль его теперь уж, наверное, ищут по всему Советскому Союзу, то надо в этих новых документах изменить хотя бы фамилию. Семён из кринки налил себе стакан холодного молока. Выпил залпом и весело произнёс: «Что ж, вот и стану с сегодняшнего дня Молоковым». Сёстры одобрительно улыбнулись.

Так и выправила родня Семёну новый документ. Была небольшая заминка с печатью,

что недоступно хранилась в сейфе у председателя, и все операции Катя делала только в его присутствии, но умелец Перфилий, лишь единожды глянув на оттиск в своем паспорте, вырезал в срезе твёрдой картофелины и буковки, и циферки, и двойной кружок — залюбуешься. Обмакнул изделие в чёрную тушь и наложил оттиск на бланк. Комар носа не подточит. Спустя неделю носил Семён в кармане пиджака новенький паспорт. А здесь подоспели и экзамены в горный техникум, двухэтажное каменное здание которого занимало часть парковой усадьбы в междуречье Филипповки и Быструхи. Купили в базарной толчее чистый аттестат о девятилетнем образовании, внесли в него оценки и новую фамилию владельца; и, сдав успешно вступительные экзамены, поступил Семён на горняцкое отделение техникума. Сёстры написали Марии на Урал письмо, где между строк, намёками, оповестили, что брат здесь, у них, и у него всё ладом. В конце августа Мария была уже в Риддере. Устроившись воспитательницей в местный детдом, она сняла на окраине, в частном секторе, домик на две комнаты и кухню с аккуратным, но маленьким огородом, стиснутым с трёх сторон глухими заборами соседей.

Семёну учиться нравилось, задачи он решал, как семечки щёлкал, — быстро и в основном правильно. Времени хватало и на то, чтобы дать списать менее сообразительным товарищам. Лишь один из однокурсников не уступал Семёну в учёбе, это Илюша Ананьин. Хоть и был он годами помоложе, но ум имел цепкий, живой. Наверное, это и способствовало их сближению. Парни крепко подружились, Илюша был местный, из бергалов, так здесь называли потомственных горняков-рудознатцев, знал все тропки к заповеданным ягодным и грибным уголкам в труднопроходимой буреломной горной тайге. А Семён едва ли не с пеленок приохотился к собиранию, да так проворно и быстро это у него получалось; когда кто-нибудь другой рядом только-только отбарабанит подну ароматной клубникой ли, упругой ли смородиной, а у него уже посуда наполовину полна. И ведь, собирая, ни разу единого не опустится на колени, не присядет, не приляжет облегчённо

на призывную травушку, чтобы обобрать всё вокруг, сминая кусты. Перегибаясь пополам, на ходу, он ловко срывал, как правило, самые крупные ягоды, и вот он уже, продравшись сквозь древесные сплетения дикой акации, на другом, заросшем дурбеем склоне, — оттуда переключается с отставшими ягодниками.

В марте 43-го, отработав практику в забое шахты одного из рудников, некоторые из студентов получили повестки на врачебную призывную комиссию. Вручили повестку и обрадованному Семёну. Всё, наконец-то настал срок поквитаться с фашистами за Андрея!

Мария обменяла на базаре свою новую шерстяную кофточку на внушительную куриную тушку и к возвращению брата с военной комиссии приготовила наваристую, с жёлтыми плавающими кружками жира лапшу. Достала из подпола ядреных солёных огурчиков, хрустящей капустки и стала поджидать Семёна, изредка поглядывая поверх ситцевых занавесок через кухонное оконце на улицу. Она не заметила, как Семён прошёл по двору, лишь услышала скрип двери в сенцах, и в избу ввалился мрачный и какой-то весь взъерошенный брат.

— Маша, милая сестричка ты моя! Не берут меня на фронт, не годен я, видите ли, бить фашистов. Докторам не нравится, что я не слышу на левое ухо, дак я одним правым услышу больше, чем кто другой двумя сразу. Жил, нормальным был, в тюрьме сидеть годен, а за брата отомстить, так, вишь ли, не годен, — Семён прошёл к накрытому столу, сел, отодвинул от себя снесь, и, обхватив голову руками, застонал. Шести лет от роду простудился он, когда по недосмотру взрослых упал со схода в студеные воды ноябрьского озера; случилось осложнение, и вот теперь левое ухо не слышит, и больше того, при малейшей простуде из уха сочится тёмно-зелёная липкая жидкая масса. И поэтому у Семёна в раковине левого уха почти всегда неприметная ватка.

— Я уж просился и в нестроевые подразделения, но доктор, гад, только посмеялся: учись, мол, студент, и в тылу люди нужны.

— Ничего, Сёмушка, не горюй и не убивайся ты так. Оно ведь, действительно, и в тылу работать кому-то надо. Жалко, ой как жалко Андрею-

шу нашего, — Мария утёрла платком набежавшие слезы и, горестно вздохнув, продолжала: — А вдруг и тебя бы там убили! Я-то куда тогда одна-одинешенька. Тоня с Юранькой теперь от нас далеко: она, я ведь тебе говорила, переехала в Кособродск, ближе к Челябинску, там с работой проще и родственники есть. Так что, Сёмушка, поешь лапшички и успокойся. Окончишь техникум — пойдёшь на свинцовый завод работать. Пули-то, которыми наши бойцы разят проклятых фашистов, — они почти все отлиты из алтайского свинца. Большая победа, она всегда складывается из таких вот крохотных частей, а ты будешь, я в этом уверена, работать обязательно по-ударному, ты же другому не умеешь. И врага мы сломим. И Андрюше нашему там, где он сейчас пребывает, наверное, тогда будет хоть немного, но легче.

В садах у бергалов, по лощинам и гребням окрестных сопот закипала белопенная пьянящая черёмуха, в городке этот запах смешивался со сладковато-удушливым дымом, валившим из труб свинцового завода и устилавшим тесные переулки и подворотни ближних к кирпичной заводской ограде городских районов. Вечерело. Семён поднимался на горушку по булыжной мостовой, ещё с десятков метров — и свороток в их переулок. От черёмухового куста, что через плотный забор свешивался из огорода на улицу, отделилась фигура и взволнованным голосом Илюши Ананьина окликнула Семёна по имени. Парень свернул с мостовой и по траве направился к другу.

— Семён, я тебя уже больше часа караулю здесь. Нельзя тебе домой, там милицейская застава. Я, когда подходил к вашей калитке, заметил, как один в окно выглядывал. Пришлось, чтобы не заподозрили и не привязались следом, попетлять по городку. Уезжай, пока они не спохватились.

— Да куда же я теперь без документов, эти-то засветились, можно хоть сейчас выбросить.

— Не паникуй раньше времени. Давай-ка сделаем так: идём ко мне, ты подождешь за изгородью, у ветлы, я вынесу тебе свой паспорт. Фотографию сдерешь со своего, и мы её подклеим вместо моей. Лады, брат?

Утром следующего дня, рискуя быть пойманным, Семён подстерёг на дорожке, ведущей через сосновый бор к массивному одноэтажному зданию, в котором располагался детский дом, понуро бредущую сестру, тихо окликнул её из-за толстого, в обхват, ствола. Мария встрепенулась, испуганно озираясь вокруг, подошла и прислонилась к сосне с другой стороны.

— Сегодня я ухожу из города. Где буду — не знаю, — раздался из-за дерева глухой голос брата. — Как появится возможность, дам о себе знать. Прощай, Маша. Даст Бог, свидимся ещё.

— Береги себя, брат, — сестра судорожно хватила воздуха, но сдержала рвущиеся из горла рыдания. — Я буду молить Богородицу, чтоб ты был жив. До свидания, Сёма. Уходи, кто-то незнакомый идёт от ограды. Беги, Семён!

— Что это вы, гражданочка, никак с деревом беседуете, — запыхавшийся мужчина в гимнастёрке, галифе и блестящих хромовых сапогах быстро оббежал вокруг сосны, шнырнул острым взглядом по цветущим кустам черёмухи у забора и вернулся к Марии. — Или с братцем беглым общались, Мария Лукинична?

— Да полно вам, закружилась голова, вот я и прислонилась к дереву дух перевести.

— Вот что я вам скажу: брата вашего неуловимого мы всё равно не сегодня завтра арестуем. Срок у него теперь ба-альшущий, за побег набегало ещё годков эдак с десяток. Так что теперь нескоро свидеться доведётся. А вам из города не уезжать, мы уж за вами, Мария Лукинична, для пущей верности присмотрим.

И незнакомец, круто развернувшись, заторопился к воротам. Мария осталась одна стоять на посыпанной мелким гравием дорожке. Слезы ручьем текли по её щекам.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. РУБЦОВСКИЙ ТАНКОВЫЙ

Этот завод стал третьим военным (после двух на Урале) в судьбе Семёна. Приняли парня на работу легко, документы, едва глянув и переписав что-то из них в карточку, тут же вернули. Мария ничуть не преувеличивала, го-

воря о том, что спустя рукава Семён просто не умеет работать. Уже через месяц его назначили мастером участка сборочного цеха, а спустя полгода — мастером смены. С конвейера этого завода, бывшего в мирное время тракторным, ежедневно сходили и тут же грузились на железнодорожные платформы и мчались на пожиривший все живое и рукотворное советско-германский фронт танки Т-34.

Жил Семён — правда, для окружающих он был теперь Ильёй Васильевичем Ананьиным — в общежитии при заводе, да оно так было и удобнее: цех рядом, в Рубцовске всё равно ни родных, ни близких. На свой страх и риск побывал он однажды на вокзале, подгадал к прибытию поезда на Риддер. Потолкался по перрону среди пассажиров, поезд здесь стоит сорок пять минут, поинтересовался, едет ли кто до конечной станции, до того самого таёжного городка, в котором его едва не взяли оперативники. Едущие до конца среди пассажиров были. Он отвёл мужчину в годах, вызвавшего своим бесхитростным обликом наибольшее доверие, в сторонку и попросил того передать по означенному адресу письмо. Для верности Семён достал из кармана ассигнации и отсчитал несколько купюр. Мужчина запротестовал было, дескать, доставлю и без всякой оплаты. Тогда Семён сложил все деньги в одну пачку и сунул пассажиру в руки со словами: «Здесь хорошая сумма, возьмёте себе, сколько посчитаете нужным, а остальные отдайте женщине вместе с письмом». Недели через полторы в общежитие пришёл ответ на имя Ананьина. Мария писала, что все живы и здоровы, всё хорошо, наказывала Илюше беречь себя. Ещё одно письмецо от сестры спустя месяц получил Семён. А потом всё оборвалось.

До пересменка оставалось четверть часа. Только что из цеха своим ходом прогрохотали по бетонному полу три новеньких, тёмно-зелёного защитного цвета танка, сейчас водители-испытатели сделают несколько кругов на площадке полигона, и боевые машины погрузят на платформы. Настроение у Семёна было отменное, приятная усталость разливалась по телу, после смены надо обязательно

зайти в душ и — спать. И вот тут-то он увидел приближающихся к нему начальника цеха в сопровождении незнакомого подтянутого мужчины в штатском. «А выправка-то военная», — машинально отметил Семён. И перевёл взгляд на своего начальника. «Но почему же лицо-то, Николай Прокопич, у тебя такое белое? Да это ж по мою душу пришли!» — опалила сознание запоздалая обвальная мысль. Бежать было некуда. Шеголеватый опер не стал марать свои руки обшариванием карманов задержанного, лишь ловко щёлкнул наручниками на запястьях своём и Семёновом — так оно будет надёжней.

Районное отделение милиции, куда опер доставил Семёна, располагалось недалеко от завода и находилось в состоянии затянувшейся долгостройки. К недоогороженной территории райотдела примыкал полуразрушенный квартал с ветхими лачугами, видимо, это была очередная расчищаемая площадка, предназначенная для новых корпусов расширяющегося танкового завода. Семён глянул в маленькое зарешеченное окошко камеры предварительного заключения, и в голове пронеслась шальная идея. Он подошел к железной двери с круглым глазком, прикрытым снаружи, и постучал кулаком.

— Эй, кто там есть! Откройте, на двор надо, мочи нет. Что ж это у вас параши в камере не имеется? Открывайте, а то прямо под дверью схожу!

Загремел засов, дверь, противно лязгнув, отворилась.

— Давай живо, времени нет тут вас развешивать. — Сонный увалень с румянцем во всю щеку — сапоги — гармошкой, гимнастёрка сидит мешком — пропустил арестанта вперед и забросил карабин за плечо. — Смотри, дёрнешься — уложу на месте!

Покосившаяся уборная притулилась на заднике милицейского двора. На середине пути к ней, метрах в пятнадцати от тропинки, по которой сейчас часовой вразвалку вёл арестанта, зияла внушительная дыра, размыкающая деревянный забор. Семён внутренне весь подобрался, чутко прислушался к ровному дыханию беспечного конвоира, шедшего в шаг

позади, резко присел на корточки и молниеносно выпрямился, отбросив своё тело назад и попав затылком в толстые губы конвоира. Удар головой был настолько неожиданным и сильным, что увалень растянулся вдоль тропинки, придавив собой карабин. Пока он, ошарашенный, приходил в себя и грузно подымался с земли, Семён был уже далеко за забором. Причем и документы целёхоньки лежали во внутреннем кармане пиджака, так как Семёна второпях впихнули в камеру, даже не сняв с него брючного ремня и не изъав шнурков с ботинок, а про обыск и вообще речи не было. Видно, начальство полагало в течение часа-другого переправить задержанного в тюрьму, да только вот арестант оказался больно прыткий, хотя, впрочем, и в розыскных бумагах особо подчеркивалось, что субъект этот, несмотря на молодость, непредсказуем в своих действиях и склонен к побегам.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ТАШКЕНТ — ХЛЕБНЫЙ ГОРОД БАСМАЧЕЙ

Пыльная, прокалённая безжалостным азиатским солнцем, стиснутая высокими глинобитными стенами улица старого Ташкента. Августовский оплавленный день клонится к закату. От духоты не спасает и тень, отбрасываемая справа на узкую пешеходную дорожку вдоль стены. Впереди Семёна, укутанная с ног до головы в чёрное одеяние, семенит, мелко перебирая невидимыми из-за длинного подола башмачками, женщина. На плече она несёт кувшин с водой, придерживая ношу ладонями изящных смуглых рук. Метрах в десяти перед женщиной, лениво переговариваясь, неспешно идут три дехкана в длиннополых полосатых халатах, подпоясанных кушаками. Навстречу им от поворота, поскрипывая огромными колёсами о мостовую, катится арба, в которую запряжён серый ослик. На плоском сиденье сгорбился перевязанный верёвками, седоусый и меднолицый узбек в тюбетейке. Осликом правит, идя перед животным с поводьями в руках, молоденький узбек-солдат в выгоревшей гимнастёрке и с винтовкой, переброшенной

за спину. Позади повозки с карабином наперевес шагает, напряженно всматриваясь в лица встречных, пожилой красноармеец с жёлтыми сержантскими лычками на малиновых тряпичных погонах. Едва арба миновала трёх дехан, как началась беспорядочная стрельба. Пожилой сержант, споткнувшись, на какое-то мгновение опёрся на дуло карабина и ткнулся лицом в пыльную мостовую. Парень бросил поводья и побежал вперед, на ходу пытаясь достать из-за спины винтовку, но, не пробежав и пяти метров, упал, сражённый револьверными выстрелами. Опешивший было Семён быстро пришёл в себя и вжался в крошечный выступ в стене. Мимо него прогромыхла арба. Теперь на ней сидели двое. Один из нападавших, разрезая путы, освобождал связанного. Двое других бежали за арбой, что-то яростно и радостно выкрикивая на птичьем своём языке. На Семёна никто из них даже и не глянул. Он постоял еще с минуту и устремился в противоположную сторону, мимо расстрелянных басмачами охранников, мимо лежавшей в луже собственной крови и растёкшейся из разбитого кувшина воды женщины, убитой шальной пулей наповал. «Что-то везёт мне в последнее время на покойников», — нервно усмехнулся Семён, сворачивая в первый пустынный проулок.

Третьего дня, усталый и голодный, шел он из глинобитного Чимкента сюда по утопающим в песке шпалам прославленного Турксиба. Силы иссякали, жутко хотелось есть, Семён шарил горящими глазами по железнодорожным откосам в надежде отыскать хоть чего-нибудь съестного, выброшенного из проезжающих иногда здесь пассажирских поездов. Однако ничего, кроме лоскутков обёрточной бумаги, блестящих и ржавых смятых пустых банок из-под консервов и тушёнки да серых колких шаров верблюжьей колючки на волнистых жёлтых барханах, на глаза не попадалось. И вдруг впереди, в ложбинке между железнодорожной насыпью и нависающим над ней крутым песчаным козырьком, что-то обнадёживающе забелело. Семён ускорил шаг, а потом и побежал, перескакивая через две шпалы, тратя последние силы и предвкушая скорый и сытный обед. Расстояние между Семёном и белеющим пакетом,

видимо, случайно выпавшим из проходящего состава, резко сокращалось, и вот уже можно различить, что же это за предмет и сослужит ли службу какую голодному бродяге. Не добежав метров десяти до места, Семён резко сбавил обороты и осторожно, как бы крадучись стал приближаться к лежащей в неестественной позе мёртвой обнажённой женщине. Лицо убитой было прикрыто густой, выпачканной в крови белокурой прядью роскошных волос, молодое тело, как у брошенной куклы, переломлено пополам. Судя по тому, что зелёные блестящие мухи еще только делали первые пробные круги над трупом, можно было с уверенностью предположить, что женщину выбросили из поезда не позднее чем сегодняшней ночью. Грохот не этого ли состава слышал под утро Семён, дышая и набираясь сил для дальнейшей ходьбы в медленно остывающих складках недалёких барханов? Минутная оторопь мгновенно улетучилась, когда парень мысленно посмотрел на себя со стороны. Это же верная вышка! Жертва и убийца, застигнутый на месте преступления. Семён, ни разу не обернувшись на страшную находку, ускорил шаг, чутко прислушиваясь, не гудит ли где поблизости паровоз, чтобы вовремя и незамеченным укрыться в барханах.

Пошатываясь от голода и нестерпимой жажды, прошёл он почти весь день, миновал волнистые барханы и выбрался на местность с редкой, колючей травой и кривыми чахлыми саксаулами по горизонту. Идёт Семён по шпалам, глаза в знойной пелене, и вдруг — ну не мираж ли! — видит, метрах в пяти от насыпи, вытянувшись во всю свою богатырскую мощь, подогнув коленом в небо левую ногу в кирзаче, спит, сладко похрапывая, мордастый обходчик. Рядом лежат в чехле два флажка — красный и жёлтый, два огромных гаечных ключа. Под головой вместо подушки — торбочка, наверх с харчами. В метре от обходчика забит колышек, от него тянется верёвка к пасущемуся в колючках ишаку. Семён бесшумно подкрался и, сняв верёвку с колышка, привязал её на два узла к ноге обходчика, который всё так же громко храпел. Зайдя тому за голову, Семён резко вырвал торбу из-под спящего и отбежал к насыпи. Обходчик подскочил и тут же упал,

петля затянулась на ноге. Перепуганный ишак бросился в степь, волоча за собой отборно матерящегося железнодорожника.

Давненько так вкусно не едал Семён: в торбе были большая лепёшка и баклага кислого молока.

В Ташкенте Семён обосновался в подворотнях, вблизи галдящего на всю вселенную днём и пустого и необычайно тихого ночью восточного базара. Купить здесь можно было всё, украсть, подрезать поясную косынку с деньгами у степенных узбеков в роскошных халатах — тоже, ежели ты сам парень не промах, а чумазы и разноплеменные дружки все твои команды улавливают с полувзгляда. Шайка, которую организовал и возглавил после двух кровавых потасовок с претендентами на лидерство Семён, состояла из полутора десятков оборванцев и занималась тем, что тащила всё, что плохо и без присмотра лежит. Одно, но жесткое условие поставил вожак босякам: бедно одетых эвакуированных не обманывать и ничего у них не красть. Зато уж отыгрывались ребята, когда совершали дерзкие налёты на фруктовые и овощные прилавки жирных, с заплывшими шелками глаз, обладавших фантастической жадностью торговцев в цветных богатых чапанах и халатах. Катились по межрядным проходам полосатые, круглые арбузы и желтые овальные дыни, рассыпались и лопались спелые персики, абрикосы, груши и гранаты. Милиционеры, как подметил наблюдательный Семён, прибегали, свистя пронзительно в свои особенные свистки, как правило, в тот момент, когда у юных разбойников карманы были забиты до отказа всякими фруктами, а рассыпанные на земле и раскатившиеся по базару плоды были незаметно подобраны худенькими и стеснительными женщинами и подростками из эвакуированных. При виде синих с малиновым кантом фуражек парнишки растворялись в толпе; легавые терпеливо выслушивали сбивчивый и крикливый гвалт потерпевших, приглашали их пройти в отделение, что в двух кварталах от базара, чтобы там по всем правилам и согласно закону написать заявление и составить протокол о причинённом ущербе. Потерпевшие отмахивались пух-

лыми ручками: «Пока мы туда-сюда ходи, кто за товар смотреть будет, всё укради. Нет, начальник, мы тебе фрукта давай, ты бумага здесь пиши. Вора хватай, тюрьма сажай».

Милиционеры сразу делались строгими и неприступными: «Да как вы смеее власть подкупать! В кутузку захотели!» А сами как бы ненароком поворачивались к взяточнику боком и указательным пальцем тыкали в глубокий карман своего галифе. Перепуганные и растерянные торговцы торопливо совали смятые рубли куда было указано и, кланяясь, пятились, ретировались к своим разорённым прилавкам.

До весны хозяйничала шайка на городском базаре, изредка вступая в драки с местными узбеками, однако хорошо организованная и бесстрашная в своей сплоченности, она всегда бивала трусоватых противников и отгоняла от хлебной и наваристой территории.

Однажды светлым апрельским вечером сидел Семён на шершавом корневище древнего саксаула у журчащего арыка. Базар, находящийся рядом, уже угомонился. Прохладный освежающий воздух поднимался от поверхности желтоватой воды и растекался по окрестности. Тишина напитывалась ароматами близких садов. Умиротворение снизошло на раскалённую за день местность. Неожиданно до слуха парня донеслось с высоких тёмно-синих небес журавлиное протяжное курлыкание. Семён вскинул вихрастую голову к небу. Там, в вышине, серый птичий клин тянулся по направлению к северу, к уже различимо мерцающей Полярной звезде.

С этого вечера Семён затосковал и засобирался в дорогу. Купил подходящий неброский костюм, аккуратный портфель-балетку под сменное бельишко, мыльные принадлежности. Только вот прибор для бритья не стал покупать: опасную складную бритву парень как приобрел после бегства из Рубцовска на барахолке в Семипалатинске, так и не расставался с ней. Правда, в дело ни разу не пускал, хотя передраги случались и в притонах с разношерстными блатняками, и на пёстрых, неизменно грязных азиатских вокзалах с быстроглазыми и плосколицыми аборигенами. Всегда обходился жили-

стыми кулаками, а в драках с сильными противниками применял удары головой.

Этим сокрушительным и чисто эковским приемам Семёна еще в курганской тюрьме обучил один старый арестант. Видя, как мордуют деревенского парня камерные шакалы, старик выбрал минутку затишья, подозвал Семёна к себе, расспросил о родне, о Вишнёвке, а потом, хитро прищурясь, молвил, что, дескать, голова у тебя, парень большая и, по всей видимости, крепкая, а вот использовать это свое преимущество ты как-то всё не догадаешься. «Показываю один раз», — и старик ловко крутнулся на месте и лбом сбил Семёна с ног. Потом он в несколько слов объяснил парню, как сшибить головой врага в ближнем бою, как действовать, если противников двое или трое. Вечером этого же дня под одобрительный гул сокамерников разбросал Семён по углам ошалевших от неслыханного отпора шакалов. И отстали шестёрки от парня.

— Всё, братцы, прощайте. Уезжаю в Россию, — неслышно подошедший Семён обвел внимательным взглядом разноплеменных своих козешей, сидящих вокруг очага в глухом двореке с высоким глиняным забором и маленькой неприметной дверцей наружу. — С собой не зову — знаю, не пойдёте, от добра добра не ищут: здесь тепло и сытно. С местными держите ухо востро, но не поддавайтесь, иначе стопчут. С легавыми старайтесь жить в мире, а жирных басмачей требуйте, пусть учатся делиться. Или страна у нас не рабоче-крестьянская? Так что бывайте, ребята. К холодам, может, и вернусь.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ОДЕССА, ПРИТОНЫ, КАРТЫ

Полтора года минули, как, бросив балетку под голову, уехал на третьей багажной полке общего вагона Семён из Ташкента. Уже оттремели салюты Победы, схлынула ошеломительная новизна мирной жизни. Устроиться легально где-нибудь на работу — такая крамольная при теперешней его жизни мысль ни разу не ворохнулась в сознании у парня. Он давно уже стал своим в том невидимом парал-

лельном мире, что давно и справедливо у рядовых обывателей окрещен как преступный. Приходилось Семёну подламливать ларьки и магазины, среди них попадались и ювелирные, опустошать кассы, но никогда не покушался он на личное имущество обыкновенных граждан. Брать у государства — это одно, обирать простых людей — совсем другое. Еще ему не сказано везло в картах, хоть в «буру», хоть в «двадцать одно». Играли, как правило, на хатах, игра шла честно. За шулерство спокойно могли и на ножи поднять, и опустить. Законы в этом параллельном мире были написаны едва ли не в средние века, иерархия блюлась непрерываемая. Вор в законе умрёт от голода у чужого изобильного стола, но не притронется к яствам, если его, конечно, не пригласит разделить трапезу кто-нибудь достойный. Кусок хлеба, даже и с чёрной икрой, из поганных рук вор в законе не примет и под страхом смерти. Это как раз тот случай, когда авторитет превышает самой жизни. И для настоящего вора потеря авторитета страшнее во сто крат, нежели для правоверного фанатика-коммуниста исключение его из пламенных рядов горячо любимой партии. Урки, жулики, ссучившиеся, красные шапочки, шестерки — вот далеко не полный перечень обитателей этого внегеографического мира. А были еще и «мужики» — те, кто уходил на зону по так называемым бытовым статьям, частью вливаясь спустя какое-то время в мутный поток рецидивистов. Однако самыми бесправными и прокаженными в лагерях и тюрьмах, как главных составляющих и своеобразных «питомниках» преступного сообщества, были тогда пресловутые «враги народа». Это довольно-таки пестрая публика, намешанная из бывших яростных и нестигаемых ленинцев, троцкистов, сталинистов, власовцев и прочих фашистских прихвостней и шпионов, а также из бедолаг, попавших за колючую проволоку по любимой поговорке вождя: лес рубят — щепки летят. Их по закону революционного абсурда вымела из рядов строителей светлого будущего железная и неумолимая сталинская метла.

Никаких обрядов посвящения Семён не проходил, числил себя «мужиком», но с во-

рами ладил, их понятия уважал, и к нему урки относились спокойно. За годы странствий заглядывал Семён и в Первопрестольную; где проехал, а где и протопал ходкими ногами по освобожденным и лежащим в руинах городам средней полосы, юга России, побывал в Киеве. Но самое страшное впечатление оставил в душе у парня Симферополь. Казалось, в нём не осталось ни одного целого дома, он был практически стёрт с лица земли. Даже Севастополь, где, по рассказам местных жителей, шли наиболее ожесточённые и кровопролитные бои, сохранился лучше: здесь хотя бы некоторые здания уцелели, а наши разведчики, вырезав финками взвод немецких сапёров, не дали тем взорвать заминированный морской порт.

Послеобеденный лёгкий бриз гонит через прибрежные отмели белые барашки волн, однозвучно шелестит прибой. Семён, разувшись и сладко вытянув ноги к морю, сидит на тёплом песке. Вокруг него ходит, размахивая руками, черноволосый крепыш в остроносых лакированных туфлях и брюках клёш. По леву руку от приятелей покато побережье бугрится пирсом одесского порта, над которым металлическими цаплями громоздятся гигантские портовые краны. У причала идёт погрузка-разгрузка сухогрузов и баржей. На рейде дымят пароходы торгового флота, как под советскими, красными, так и под флагами зарубежных стран. Восстановленный одесский порт имеет чин международного.

— Ты пойми, Илья, удача сама прёт к нам в руки. Мы при деньгах. С командой я договорился, люди проверенные. Завтра, как стемнеет, нас проведут на пароход. В трюме, в кочегарке, у них там есть специально оборудованное место, куда нас положат и дадут каждому по резиновой трубке для того, чтоб можно было дышать, когда присыплют сверху углём. Через день будем в нейтральных водах, там нас откапают. Отдыхимся, перекусим, и та же процедура уже в Италии, где тоже есть верные люди, главное, чтоб деньги и цапки были, а они у нас, как ты знаешь, имеются. Так что решай: либо здесь тебя сцапают и закатают в лагеря, либо в загранике будешь человеком, пусть и капитали-

стическим, зато свободным! — весело закончил крепыш.

— Да я уже всё давно решил, Коля, — Семён был серьёзен как никогда. — Видишь ли, мне и здесь-то, в России, деревня чуть ли не каждую ночь снится: озеро наше, берёзовые заливы и колки, ребята, с которыми рос, родня. Ты знаешь, сколь у меня родни? Половина Южного Урала! А теперь вот и на Алтае укореняется наша родова. Уедь я к твоим буржуйам хвалёным, кто меня обратно пустит? Да я там со всеми этими цацками твоими сдохну от тоски. Нет, уж пусть лучше здесь, дома, что будет, то и будет. Бог не выдаст, свинья не съест. Я, Коленька, родину не меняю.

Крепыш в сердцах сплюнул на прибрежный, переливающийся перламутром от сбежавшей только что волны песок и, досадливо махнув напоследок мускулистой рукой, энергично зашагал в направлении порта.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. ЗДРАВСТВУЙ, БРАТ!

Мартовская теплынь основательно подъела серые отёкшие, ноздреватые сумёты по обочинам просёлка. Вокруг белоствольных, с розоватым налетом на тонких упругих ветках нераспустившихся берёз уже вытяяла земля, и получалось, что деревья стояли как бы в живых и пахнувших осенней прелью лунках. Сама дорога подсохла, лишь кое-где, в широких колеях, в стоячей талой воде отражалось синее промытое небо, подёрнутое с краю алым закатом. Рядом тенькали невидимые весёлые синички; дорожная мелкая галька в такт пичужьему пенью позвякивала под утеплёнными американскими ботинками на толстой каучуковой подошве, выигранными Семёном еще зимой в «буру» у порывистого армянина. Тогда, в Крыму, в одной белёной хате проигрался этот невесть как очутившийся среди матёрых уголовников торговец в пух и прах, до исподнего шёлкового белья. Поначалу карта ему шла, горка смятых купюр возвышалась на столе перед ним. Она была чуть меньше, чем та, что лежала в центре, на кону в банке. Всё складывалось так, что и эти деньги азартный армянин вот-вот сгребёт

нервной волосатой рукой в свою сторону. Но карта Семёна перебила армянские козыри. Торговец буквально взвился над карточным столом, потом сник, успокоился и начал методично просаживать деньги, потом извлёк из внутреннего кармана дорогого костюма пригоршню драгоценностей, затем на стол были последовательно брошены роскошное пальто с каракулевым воротником, кашне и бобриковая легкая шапка, костюм, ботинки. Кончилось тем, что босой, щуплый горбоносый человек, покрытый, как кольчугой, блестящими кольцами волос на груди и спине, ходил в кальсонах по накуренной комнате и выпрашивал у нелюбимых блатарей пистолет, чтобы пустить пулю себе в седых завитках висок. Но ему накинули на плечи какую-то рваную дерюжку, дали стоптанные тапочки и вытолкали за двери в крымскую усыпанную звёздами декабрьскую ночь.

Семён поднялся на косогор, с которого открывался великолепный вид на весенние родимые окрестности. Дорога в две колеи спускалась на равнину и, петляя, бежала через берёзовые колки прямо к двум деревьям, обнимающим красноватое от заката, подёрнутое лёгкой рябью озеро. Вдохнув полной грудью родного, пахнущего талой водой воздуха, Семён свернул с просёлка и направился к рощице, где кривые вётлы перемешивались с нарядными расцветшими вербами. Здесь он решил дожидаться сумерек, чтобы неузнанным войти в деревню.

Александр, или Шуретка, как ласково и по привычке с детства называли его близкие, только что вернулся из Скоблина, куда ездил договориться на завтра с печником перебрать некстати задымившую в горнице печь-лежанку. Он распряг Мухортого, набросил на взмыленную спину тому сухое одеяльце и, проведив коня в стойло, вышел во двор.

— Шуретка, иди на два слова, — негромко позвала его от калитки тетка Лизавета, в конце войны вернувшаяся с Алтая в родную деревню.

— Случилось чего, что ли, тетушка?

— Ступай до Василия, да только тихо. Семён там. Пришёл откуль неведомо. Вестимо, скрывается он. Велел тебя кликнуть.

— Спасибо, тётушка, бегу!

И Александр, ломая сапогами схватившийся в лужах ледок, заторопился на соседнюю — вторую от озера — улицу, где в добротной, но тесной избушке жил Василий с молодой женой Катей.

— Здравствуй, брат! Живой, целый, ну и слава богу. — Александр, едва переступив порог, стиснул в железных своих объятиях Семёна. — Это ж сколь мы не видались? Да ведь шесть лет! Ого-гошеньки! Мы с Василием уже почти два года как с войны пришли. Женатые оба теперь. А ты-то как, откуда?

— Да я, можно сказать, проездом. Истосковался по вам всем. Думал заночевать, а утром раненько уйти, да, видимо, не получится. Шёл-то я улицей, надеялся, стемнело, никого не встречу. Но сдаётся мне, одна бабёночка, облищем вроде знакома, а фамилии не припомню, так вот она, когда столкнулась со мной нос к носу, так зыркнула, так блеснули глазки её в сумерках, что лучше мне здесь не задерживаться до утра, а то, не ровен час, облаву объявят. Я ведь уже шестой год как в бегах.

Василий, старший из сродных братьев, пригласил Александра и Семёна к накрытому столу, где среди отваренной картошки в мундирах, солёной капусты, шматков розоватого сала и ломтей ржаного хлеба стояла запечатанная тёмным сургучом пол-литровая бутылка водки, припасённая Василием для такого вот именно случая. Братья сдвинули гранёные стаканы над столом и, встав, выпили до дна. Похрустели капусткой, закусили.

— Теперь-то ты, брат, куда путь держишь?

— На восток, на Алтай постараюсь пробраться. Там Мария, она ведь тоже без вестей обо мне.

Братья, прислушиваясь к редкому ленивому тьяканью собак в уснувшей деревне, проговорили до полуночи. Но лишь настенные ходики пробили двенадцатый удар, Семён поднялся из-за стола, взял с вешалки свою двубортную тужурку-москвичку, оделся, крепко обнял поочерёдно Василия и Александра и, сказав, чтоб

не провожали, вышел в сени. Здесь он нахлобучил на лоб почти до самых повлажневших не ко времени глаз шапку и исчез в ночи.

Светало, когда Семён, одолев двадцать вёрст, вышел на Куртамышский большак. Еще каких-то три километра — и вот она, станция Юргамыш, где если даже и не останавливаются, то всегда притормаживают что пассажирские поезда, что товарняки. И тут парень сначала почувствовал на себе чьи-то пристальные взгляды, а потом, еще даже не обернувшись, услышал мягкий на земляной дороге топот конских копыт. Семён повернул голову и увидел выезжающих с просёлка на большак двух верховых в милицейских синих шапках и длиннополых, подоткнутых к портупьям, шинелях. Кони шли бодрой переступью, вот-вот верховые нагонят, уходить куда-либо с большака поздно: разом настигнут, собьют лошадьми и — «прощай, моя воля». Милиционеры по-хозяйски подъехали к Семёну с двух сторон так, что он оказался между ними посередине. Молодые весёлые ребята, скорее всего даже ровесники его, были так близко, что в ноздри ударил острый запах дёгтя от смазанных накануне сапог, перемешанный с характерным запахом разгорячённых коней.

— Откуда и куда в такую рань? Предъявите ваши документы! — ровным голосом произнёс тот из служивых, что был крупнее. И было трудно понять: просто ли это дежурная проверка либо же им что-то уже известно о Семёне. Поэтому раздумывать стало некогда. Семён разбросил руки, пружинисто подпрыгнул, поймал не ожидавших подобных действий милиционеров за тугие воротники и с усилием свёл руки над собой. Милиционеры звонко стукнулись лбами, шапки слетели наземь, а затем и они сами грузно сползли с седел. Семён оттащил с дороги в кусты обесчувственных противников, одного — на правую, другого — на левую обочину. Там крепко связал им руки и ноги брючными ремнями, поймал лошадей, вынул у них из пасти удила и отогнал пастись на вытаявшие проталины. На всё это ушло минут восемь. Большак по-прежнему оставался пустынным. Почти бегом достиг Семён станции. Наудачу на путях попыхивал под парами

товарный состав. Семён пробежал вдоль вагонов, нашел один с открытой платформой, только взобрался и пристроился в уголке, где меньше задувало, как состав тронулся на восток, в сторону Кургана.

Утром чуть свет вывел Александр запряженного в бричку Мухортого и уже занёс ногу, чтобы влезть на сиденье, как его окликнули. Шуретка обернулся: по тропинке рядом с разбитой уличной дорогой к нему спешил участковый, придерживая левой рукой полевую кожаную сумку сбоку синей шинели.

— Доброе утро, Александр Ефимыч. Давненько не виделись. А тут иду мимо, гляжу, собираешься раненько куда-то ехать. Может, по дороге нам?

— Не знаю, мне надобно в Скоблино, печника привезти... Печь худая, дымит. — Александр беззаботно скосился в сторону участкового.

— Да нет, мне в Таловку надо бы. Живешь-то хорошо? Родня как? Семёна-то Лукича когда видывал? Говорят, бывал он у вас здесь недавно? — как бы между прочим бросил пробный неуклюжий камешек милиционер.

— Что ты, Яков Сидорыч! Как простились мы с Семёй в Юргамыше осенью 41-го, когда уходил я на фронт, так, почитай, уже шесть годков ни слуху от него, ни духу. Присаживайся в бричку или уж не обессудь, тороплюсь я, печник ждать не будет.

И Александр, взяв в одну руку вожжи, в другую — длинный ивовый прут, стегнул Мухортого. И тот резво зарысил от раздумчиво покачивающего головой участкового.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. СЕНОКОСНАЯ ПОРА НА РУДНОМ АЛТАЕ

Паровоз, пыхтя, дал протяжный гудок, и пассажирские вагоны, лязгнув, остановились. Старая кержацкая деревенька Бутаково томилась в июльском знойном мареве, лежа в межгорье, по обе стороны железнодорожной насыпи. Семён спрыгнул на низкий перрон, сбитый из листвяжного теса, и огляделся. Было малоллюдно, это и хорошо, хотя в непри-

ветливой деревне, где если и дадут тебе в жаркий полдень напиток студёной водички, то ковшик выбросят за ограду следом, у Семёна знакомцев не водилось. Но, учась в техникуме, приезжал парень с группой студентов в этот колхоз, в двадцати пяти верстах от Риддера, на уборку свеклы и моркови. Жили тогда ребята в бревенчатом клубе; с местной неразговорчивой и застенчивой молодежью городские разбитные студенты так и не нашли общего языка. Назревали неизбежные стычки, но всё обошлось, потому что вскоре студентов отозвали в город: их молодые и свежие силы понадобились для работы в шахте. А вот обычай этот суровый, когда на тебя смотрят даже не как на просто растение, а как на сорняк, и взгляд, направленный исподлобья, выдает затаённое в глубине презрение и превосходство кондового старовера по отношению к отошедшему от истинной веры никонианину, — этот обычай Семёну запомнился. Хотел как-то он сказать вечно насупленному клубному сторожу с бородой до пупа: «Что вы носы-то воротите? Мы одного корня. Просто вы — алтайские самодуры и фелдосеевцы, а я — уральский двоедан». Похотел, да раздумал. К чему набиваться в родню? Да и не растопить разговорами эти синие льдинки холодных цепких взглядов из-под кустистых бровей. И потом какой он, Семёна, блюститель древнего благочестия, когда обряды и обычаи ему известны понаслышке, а школьные годы его выпали на самый что ни на есть адов пожар жидовского мракобесия, зловещего натиска на русское православие?.. Да, истовые старухи и неспигаемые спокойные старики не отступили ни на йоту, порой ценой жизни сберегали заветы и предания, но их считанные ряды, тогда как осатаневших — легионы. И правит ими мистическая, покоящаяся в мраморном саркофаге на заглавной площади советского государства непогребённая мумия. И перед ней отчитываются, на нее равняют свою разрушительную поступь разнокалиберные вожди и вождяты.

Скорым шагом Семён миновал деревню. Вот и поскотина. Теперь по каменистой дорожке, повторяющей все изгибы таёжной прозрачной и всегда студёной Бутачихи, вверх, в

ущелье, где на карнизах скал растут могучие сосны-одиночки и кудрявые бесстрашные березки, а тесные распадки забиты островерхими пирамидками темно-зелёных пихт. Обогнув урочище Марьиной речки, парень вскарабкался на заросшее шелестящим осинником седёлко, что круто переходит в трёхглавую, в зазубринах остроконечных скал вершину горы Теремка. Отсюда, с высоты, отчётливо видны крыши, огороды и единственная улица селеньица Большая Луговатка. Где-то здесь, как объяснили Василий и Александр, живёт крепкая кержацкая семья Поляковых. За их младшим сыном Иваном, фронтовиком и инвалидом войны, одногодком Семёна, вот уже год как замужем сестра Мария.

Последние лучи заходящего солнца еще золотили издырявленные ветрами скалы Вострушки. Здесь же, в долине, уже легла через всю деревню широкая, свежая и прохладная тень. Мария весело гремела ведрами, управляя вернувшихся с лугов коров. Настроение было такое, что хотелось петь и плясать. Причины женщина не доискивалась, коль хорошо на душе, так и ладно. Мария процедила парное молочко, сполоснула посуду, накрошила в молочные ополоски разваренных картофелин, намяла тюрю и понесла Дозору, радостно вставшему на цепи на задние, мощные и упругие, лапы. Вывалив в миску похлёбку, Мария развернулась и пошла по выложенной плоским скальником дорожке к крыльцу, но тут ее остановил яростный собачий лай. Она поворотила голову, и, обмерев, душа ее сначала рухнула куда-то вниз живота и здесь же, восторженно ликуя, вознеслась вверх. Не помня себя, Мария бросилась к запертой калитке, распахнула её и без чувств упала на грудь возмужавшего брата.

— Ну, что ты, Машенька, не плачь. Вот мы и свиделись, — успокаивал растроганный Семён сестру. — Веди, хозяйка, в дом, а то вон уже соседи из-за заборов выглядывают. Мне же лишние глаза ни к чему. Да и на ваше крыльцо какой-то свирепый бородач вышел, и вид у него такой, будто раздумывает: сейчас сбегать за топором и вилами али погодить. Никак это свёкор твой, сестрёнка. Пойдём, познакомимся. Меня представь так: что вот, мол, брат

мой, с родины приехал проведать, как живу, ну и погостить маленько. Новые родственники-то хоть слышали обо мне чего? Так, краем уха, и не знают, что я в розыске. Это хорошо. Пусть, Мария, всё так и остается. Я побуду у вас, осмотрюсь, а там и решу, как быть дальше.

Семён пропустил сестру вперед и следом, степенно, не торопясь, поднялся по устеленным половичками широким ступеням на высокое и просторное крыльцо с резными перилами.

— Папа, это Семён, мой младший брат с Урала, — почему-то заробев, промолвила Мария. И отступила в сторонку — к стоящей в бревенчатом, побелённом простенке узенькой лавке.

— Добрый вечер и крепкого здоровья вам. Вот приехал к сестренке. Не прогоните? — попробовал пошутить слегка потерявшийся под изучающим, как будто недружелюбным взглядом старообрядца Семён. — Да вы не беспокойтесь. Если вам устав не позволяет и посуду боитесь замарать, так я могу пожить и в баньке. Буду всегда чистым и не на глазах.

— Не ершишь, парень, — басом, с расстановкой произнес суровый дед. — Мария, проводи гостя к рукомойнику, пусть ополоснётся с дороги. И давайте в дом. Там на столе прикрытый рушником хлебушко испечённый, еще должен горячим быть. Да парным молочком попотчуй. А я покуль баню затоплю. В аккурат к возвращению Ванюши из Риддера поспеет, вот и попаримся.

После жаркой баньки вечерять сели в ограде, за круглый, с выгнутыми ножками стол под раскидистой, усыпанной зелёными ранетками яблонькой. Григорий Григорыч в честь гостя выставил графин доброй, из погребка, настоявшейся медовухи.

— Отведай, Сёма, нашего алтайского целебного напитка. Оцени. Но сразу говорю, будь с ним начеку, ежели навыка не имеешь, — дед лукаво ухмыльнулся в седую окладистую бороду. — Не встречал я покуль мужика, кто бы устоял апосля моей-то медовушки. Проверим, каков будешь ты.

Выпили. Напиток Семёну понравился: тягучий, кисловато-терпкий, отдающий медком, он благостно растёкся по телу, но в голову не

ударил. Наоборот, сознание, казалось, прояснело, мысли преобразились. Сидящий по праву руку Иван, большелобый, с ранними залысинами муж Марии, понимающе глянул на Семёна и предложил еще по чарочке. Женщины — Мария и тетка Авдотья, мать Ивана, — отказались, а мужики чокнулись и выпили еще по стаканчику.

— А я ведь, Ваня, нонче устыдил-таки Митюху Бутакана, носом ткнул горлохвата. — Григорий Григорыч весело откинулся на высокую спинку ладно сработанного стула. — Я тебе не сказывал, как удумал одну штучку, чтоб разоблачить его воровок-пчёл. Вот и слушай. Вчерась на утренней зорьке насыпал я на порожки летков беленькой мучки, а то ведь, вижу, близь ульев в траве битой пчёлки изрядно. Наши-то смирные, работающие. Знамо дело, повадились воровитые со стороны, а откуль, как не от Митюхи, здесь и лёту через горочку, да и они, как и сам хозяин, на даровое падки. Я уже и прежде схватывался с Митюхой: угомони, мол, своих диверсантов, таскают они мой медок, пчёлку, что за свое вступается, не хочет отдавать, на-смерть бьют. Так вот. Как отметил я мучкой-то свои ульи, живо оседлал Серка и к Митюхе. А он как раз на пчельнике меж колодок прохаживается, довольнѣхонький, рожа лоснится. Я — к нему: давай, мол, сообща будем вести наблюдение, как твои воровки мой мёд сюда при-таскивают. Он взвился свечкой: чё ты, старый, напраслину на моих тружениц наводишь, проваливай отсюдова, покуль собак не спустил. А я — в ответ: охолони, Митя, пойдём, в тенечек присядем, всё обскажу и удостоверю. А потом, говорю, сам решай, чем рассчитывать будешь. И выложил Митюхе про свою удумку. Он сначала взъерепенился, растопорщился на весь тачок, даже сват его, Митюхин-то, из дому прибѣг: чё это у вас, дескать, за мировая война здесь открылась, рѣв стоит на всю округу. Я и его просветил. Опнулись мы чуток в тенёчке, да и вышли на тачок глянуть на летки: чисты они аль замараны мукой. И что вы думаете, не только на дощатых порожках белые полосы сплошь да рядом, а и подлетающая пчела через одну как вываливающаяся в мушце. Сошлись на том, что осенью доставит мне Митюха флягу

мёда погасить ущерб, нанесённый его диверсантами. А вот как отвалить Митюхиных пчёл пакостить на моём тачке, здесь надобно крепко подумать.

Семёну легли на сердце добродушие с нарочитой суровостью и житейская смётка Григория Григорьича, молчаливость и умные внимательные глаза Ивана, да и само это нечаянное застолье в таёжной глуши с соловьями в ближних зарослях черемухи и щедрой на обещания многих и безоблачных лет кукушкой в пихтаче на той стороне говорливой Луговатки. К тому времени, когда настала минута идти спать, парень уже знал, что он среди своих, и на душе было тихо и благостно, наверное, впервые за многие годы. Однако подняться самостоятельно из-за стола Семён, недоумевая и посмеиваясь над своей беспомощностью, не смог. Ноги его, ходкие, прошедшие пешком пол-России... Ноженьки стали бессильными и невесомыми. Больше того, было ощущение, что они вот-вот сплетутся, перекрутятся в такой узел, что и не развяжешь! Ай да медовуха! Опираясь на костистые, выступающие плечи старика и поддерживаемый Иваном, Семён добрался до приготовленной для гостя в горнице деревянной кровати. Григорий Григорьич, молвив, что, дескать, к утру ноги будут как новенькие, и пожелав добрых снов, ушел, а Иван присел на краешек постели, и они разговорились.

Еще за столом Семён приметил, что новоиспеченный зять и чарку, и ложку держал левой рукой. Правая, пальцы которой были прижаты к ладони, покоилась на столе. Семён с расспросами не лез. А сейчас Иван сам неторопливо и как-то обыденно даже поведал шурина, как был призван и направлен на краткосрочные офицерские курсы на самую южную точку Советского Союза — в гарнизон Кушки... Как оттуда попал в страшную мясорубку Курской дуги, в пехоту командиром взвода, а уже через неделю боев командовал ротой:

— ...Потому что людей выбивало ежедневно и ежечасно столько, что и до сих пор ни единой ноченьки не сплю спокойно. Чуть больше месяца отвоевал, фрица тогда переломили и погнажи. И вот в одной из атак мы уже почти ворвались в окопы, чтоб там схватиться в ру-

копашной, как меня подрезала очередь. Одна пуля расщепила приклад моего автомата, а две впились в правую руку, выше кисти и под локоть. Приклад, я так думаю, спас мне жизнь: та пуля шла точно в печёнку. Я еще по инерции пробежал несколько метров и выронил разбитый автомат, вот тогда-то мне и стало по-настоящему нестерпимо больно. Санитары тут же перевязали меня, а в санбат дошёл своими ногами, крови-то не успел много потерять. Пули извлекли, но рука от локтя теперь бесполезная, все нервы перебиты. Видишь, и пальцы-то как сжимали автомат, так и сжимают, скрюченные, до сих пор. Ну ничего, я освоился левой как правой всё делать. Даже пишу, только вот интересный наклон букв — в другую сторону, чем если бы писал правой. Я, кстати, еще в войну выучился на бухгалтера и теперь работаю на горном комбинате здесь, в Риддере. Обещали комнату дать нам с Марией. Тогда проще будет. А то ведь я неделю — там, она — здесь, у стариков, живет. Как определимся с жильем, заберу в город. Уже из интерната спрашивали, когда Мария Лукинична вернется на работу, ждут её там.

Семёна разбудил птичий гомон, лившийся в раскрытые окошки, выходящие в огород. Парень оторвал голову от подушки, сел на постели и стал смотреть на гору, что круто началась сразу за изгородью. Было такое впечатление, что гора живая и приветливая именно многоголосием певчих пернатых. Подумалось: гора-то поющая. Как, впрочем, и другие лесистые сопки вокруг просыпающейся деревеньки. Неслышно вошел в горницу Григорий Григорьич.

— Как самочувствие, Сёма? Крепко ли спалось?

— Доброе утро! Я вроде как вновь родился. Такая лёгкость и сила. Гору бы свернул!

— Вот-вот, это ты верно сказываешь. Там Авдотьюшка уже на стол собрала, подкрепимся и — на покос. Покуль доберёмся, сено в валках подсохнет, в самый раз копны ставить. Ванюша на ключ побежал, он завсегда студёной водичкой с утра освежается. Коли что, дак тропка одна от бани и в низа — отыскать по глазам

любому.

Пока парни плескались, дед запряг Серка в оплетённый упругой лозой ивняка, с высокими бортами ходок и поставил лошадь у ворот на улице. Позавтракали. И стали усаживаться на повозку. Григорий Григорьевич взялся за вожжи. В это время в ограде напротив скрипнула калитка, на дорогу выступила живописная старушка в старомодном сарафане поверх шерстяной кофты и повязанная тёмным платком по самые брови. Однако не одежда обращала на себя внимание: старушка вокруг пояса была обвешана десятком миниатюрных плетёных корзиночек. Она кивнула в полупоклоне соседям и уже было повернулась идти, как вышедшая проводить мужиков Авдотья брякнула через улицу:

— Хавронюшка, ты куды в этакую рань-то?

Старушка вмиг опала с лица и в сердцах бросила:

— На кудыкину гору кукушек щупать. Ох, Дуня, почто дороженьку-то мне закудыкала? — и старушка, поворотясь, исчезла в своей ограде.

Григорий Григорьевич и Иван заулыбались, а Авдотья сокрушенно обронила:

— Чё же я, старая, в толк не возьму?.. Говорить-то надобно: далеко ли, Хавронья, путь держишь? А я опять на те же грабли да лаптями брякнулась! И оставила без ягодок и целебных травок соседку.

Просмеявшийся Иван объяснил Семену, что эта старушка — известная на весь околоток травница и ведунья, даже и риддерские горняки тайно лечатся у нее, однако есть у знахарки такая вот странность. И теперь уж сегодня она никуда не пойдёт и ничегошеньки с земельки не возьмёт. Хотя ты рассыпь у порога вагон ягод и грибов — ни самой малости не подымет и не уложит в свои заветные, отдельные для каждого цветочка и клубники, малинки ли плетеные изящные корзиночки. Потому как дорога и добыча закудыканы.

Обогнув выступающий в ложину и заросший непролазной акацией утёс, ходок въехал на широкую, овальную поляну, подрезанную с одной стороны прозрачной Луговаткой. Пра-

вильными рядами от предгорных черёмуховых зарослей к речному, обрывистому берегу уходили пахучие валки скошенного вручную сена, перечёркнутые лишь двумя пыльными колеями петляющей дальше в сопки просёлочной дороги. Григорий Григорьевич убрал ходок под гору, в тень, вывел из оглобеля коня, спутал передние ноги и пустил того пастись к реке; окликнул Ивана и Семёна, и они по довольно-таки просторному утопанному коридору углубились в дебри. Там, в своеобразном древесном гроте, зелёные своды которого переплетены черёмуховыми ветвями со свисающими с них кистями бурой, неспелой еще ягоды, вокруг толстого, с обрубленными понизу сучьями, потрескавшегося от возраста ствола, черенками вниз стояли вилы и грабли. Мужики взяли этот первейший на уборке инструмент и вернулись на луг, где сразу же принялись сгребать подсохшее сено и складывать навильниками в копны. Семён, отвлекшись на минутку, невольно залюбовался, как сноровисто управлялся Иван с сенными пластами. Гладкий черенок вил был накрепко примотан холщовой тряпичей к покалеченной правой руке, теперь и вилы, и рука составляли как бы одно целое. Левой рукой Иван давал направление вилам, после чего рычагом правой подворачивал внушительный пласт и забрасывал его на закругляющуюся копёшку. Мария уже сходила на речку, принесла ведро холодной воды и, накрыв от слепней и оводов чистой холстинкой, поставила его под ходок — в место, недостижимое для солнечных жарких лучей в течение всего долгого июльского дня; а сама, выбрав лёгкие грабельки с деревянными зубьями, присоединилась к мужчинам.

К обеду вся поляна бугрилась частыми копёшками. Сухое, светло-зелёное с жёлтыми соцветьями пижмы, красно-фиолетовыми кистями клевера и розовыми подвяленными колокольчиками цветков кипрея сено хорошо бралось пластами, не рассыпалось на вилах; сгребать и складывать его мужикам было просто в охотку. Мария шла следом и подчищала отаву, собирая редкие сенные осыпи и клочки в аккуратные кучки. Потом, когда дед поймает Серка и приладит его в сделанные из двух слег с поперечными жердями волокуши, эти кучки

также будут подобраны и найдут себе место в круглых и высоких копнах.

Пообедали, когда солнечный диск упёрся в зенит прямо перпендикулярно поляне. Смотреть на него было невмоготу. Семён, прикрыв глаза, подумал, что это уже вовсе и не солнце, а открытый зев вселенской печи, через который вытекает расплавленная лава и сжигает все живое на земле. «...Но тут тебе не Средняя Азия, можно и уползти в тень, под черёмуху! Так что живем, Сёма! Через часок жара спадет, и доедаем оставшиеся копны. Хорошо-то как, так бы и убирал это скошенное алтайское сено всю жизнь, и ничего, ну ничегошеньки не надо больше! Сестра — рядом, и по всему видно, что счастливы они с Иваном, поди уж скоро и детишки пойдут. А я бы деду на пасеке помогал, да и скотину управить умею», — вялые мысли слипались, как дремотные глаза.

— Гляньте-ка, никак участковый верхом на Карюхе скачет, — издалека, сквозь дрёму услышал Семён голос Ивана. — А едет-то, как пестик в ступе толчется. Уж на что Карюха смирная да покладистая, а, гляди ж ты, и с ней совладать не может. Вот что значит городской.

Пока Иван выдавал эту несвойственную ему по колкости тираду, Семён успел откатиться от расстеленного на манер походного стола старого одеяла с остатками недоеденной снеди под стоящий рядом ходок и замер там, прикинувшись уснувшим после сытного обеда. Уходить в тайгу было поздно, всадник в выгоревшей гимнастерке, в милицеейской фуражке с ремешком через подбородок и кобурой на боку уже останавливал возле покосников лошадь.

— Хлеб с сахаром вам и доброго здравия! Как нынче сено? На зиму-то хватит скотине, Григорий Григорьич? — понятно было, что служивый, бессознательно или же с умыслом хотел быть своим и для этого даже пробовал упростить речь.

— И тебе, Афанасий, чаю с мёдом! Что касемо сена, мы только первые копны складаем. Трава нонче отменная. До сеногнойных дождей поспеем убрать, будем зиму с молоком. А ты далёко ли путь дёржишь?

— Да вот надо бы заглянуть на Марьину речку к Варфоломеичу. Медведь у него шалил,

говорит, три корпуса с пчелами раскурочил, а пасека-то колхозная... Осмотрю и акт составлю, чтоб всё по закону. А ну как вредительство! Мне же первому головы не сносить! Так-то, Григорий Григорьич! Смотрю, вы гуртом сегодня на покосе. И молодые при деле, а под телегой-то кто? Что-то не признаю.

— Шурин, Марьин брат. Наведался к нам погостить, а в страду, известно, лишних рук не бывает. Да, видно, пристал парень с непривычки, сморило, пушай отдохнёт. Жара схлынет, у нас работы сам вишь сколь.

— Ну, бывайте! Но-о, Карюха, но-о, заветная моя! — участковый, подпрыгивая в седле не в ход конской рыси, усккал, поднимая фонтанчики пыли, к расщелью лесистых утёсов.

Вечером, когда возвратились с покоса, Семён выбрал минутку и сообщил сестре, что вот, мол, картина опять вырисовывается не ахти какая. А никудышность её в том, что даже если сегодня участковый, выпив медовушки с Варфоломеичем, останется ночевать на пасеке, то уж завтра-то точно милицеейская труба или долг ищейки призовет его обратно на службу.

— И пусть он лица моего не разглядел, я нарочно отвернулся и отполз так, чтобы голова находилась за ведёрком с водой, но справки навести о приезде незнакомца — это святой долг и почетная обязанность каждого даже самого зачуханного легавого. Так что, Мария, делать нечего, надо уходить. Вижу, новая родня у нас хорошая, ты им скажи, что, мол, брат вспомнил о каких-то неотлагательных делах своих и вынужден был срочно, не попрощавшись, уйти отсюда прямо на вокзал. Иначе опоздает на московский поезд. Или уж, не знаю... не говори ничего. Прощай, сестренка, даст Бог, свидимся еще.

— Мария, зови брата вечером, мне не по глазам, сутемень, вишь ли, — настрой у свекра, ополоснувшегося только что тёплой, нагретой за день в кадке водой и смывшего всю сенную труху и былинки с тела, был благостным. — Мать сготовила, как вчерась, под яблонькой. Али Сёма с Ванюшей на ключ убёгли? Ох, молодёжь, молодёжь... Да на тебе, девонька, почто лица-то нет? — с тревогой в голосе обратился Григорий Григорьич к вышедшей из тени са-

рая Марии. — Стряслось ли чего?

— Простите меня, папа! — Мария заплакала и прижала кончики белого ситцевого платочка к глазам. — Брат мой в розыске, его вся милиция Советского Союза ищет.

И Мария сбивчиво, но внятно рассказала Григорию Григорычу и подошедшему Ивану всё об изломанной судьбе Семёна. Иван, как только она дошла в рассказе до приезда брата сюда и, не выдержав, вновь разрыдалась, подошёл к жене и сочувственно обнял её. Григорий Григорыч принял известие о том, что новый родственник — беглый арестант, спокойно. Помолчал. А потом негромко, но твердо и с расстановкой молвил:

— Зря парень ушёл. Мы бы его и здесь, подалее в тайге, на Убинских перекатах, так укрыли, что ни единой ищейки не сыскать. И паспорт такой бы выправили, что хоть к самому Сталину на приём без очереди определяют. Э-х-хе! Семушка ты, Сёма, голова бедовая...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. ДОНЕЦКАЯ ЗАПАДНЯ

По многолюдной улице осеннего шахтерского Донецка Семён шел вразвалочку, спешить ему было некуда. Новый кожаный реглан, бостоновый тёмно-синий костюм, лакированные колхики-туфли. Накануне он на весёлой хавире удачно откатал в «двадцать одно», теперь денек-другой освежиться и — на юга, к незамерзающему морю, к закрытию бархатного сезона поспеть, на зиму где-нибудь среди крымских олеандров гнездышко свить под боком у чернобровой хохлушки. А что? Бабки есть, да и отвернуть угол на балочке-базаре у барыги-спекулянта дело минутное. Парень победно поглядывал на встречных прохожих: женщины с озабоченными, как бы стёртыми лицами, сосредоточенные мужчины. Предстоящая зима уже явственно проступала не только в сиротливых облетевших тополях и серых от сумрачного неба стенах каменных зданий, но и на лицах спешащих куда-то людей.

Наверное, эта вот беззаботность и фраерская расслабуха и стали причиной того, что удар по голове рукояткой пистолета Семён пропустил.

Однако на ногах он устоял и даже успел обернуть лицо к своему обидчику — парню примерно его лет, в элегантном длиннополом плаще и фетровой шляпе. И тут же на темечко Семёну обрушился еще один удар и тоже рукояткой ТТ, но с другой стороны. Ноги подкосились, Семён упал навзничь. Сознание не потерял. Он видел, как над ним склонились двое, причем и второй был в шляпе и плаще, вот разве что выражением скуластой физиономии свирепей. Они подняли безвольные ватные руки Семёна, соединили кисти и щелкнули наручниками. После этого оперы — а это были, безусловно, они, — подхватили задержанного под мышки и поволокли через толпу зевак к стоящей в сторонке машине.

— Ну что, Илья Васильевич, будем рассказывать, с кем вскрывали кассу ремонтно-механического завода? — Моложавый следователь, сидящий за столом напротив Семёна, повертел в руках потрепанный паспорт задержанного, отложил его и поднялся со стула. — Тебя мы взяли тёпленьким, подельников твоих тоже возьмем. Что ж это вы у трудового народа кровное отнимаете? Вон какой мордоворот, шел бы работать — глядишь, и в передовики бы выбился!

Следователь не спеша прохаживался по кабинету, был он явно в настроении и, наверное, поэтому склонен к плоскому философствованию.

— Начальник, ты бы распорядился браслетики с меня снять, руки так затекли, спасу нет. — Семён поёрзал на прикрученном к полу табурете.

— Нет, гражданин задержанный, не распоряжусь. Ты ведь у нас непредсказуемый. Да, Илько? — Следователь зашел как раз за спину Семёну.

Парень теперь слышал только вкрадчивый, убаюкивающий голос да равномерное поскрипывание портупей и яловых сапог. Некстати подумалось: под такую монотонную болтовню хорошо погружаться в сладкий сон где-нибудь в мягкой постели.

И вдруг резко, как ослепительная молния в кромешной ночи, безнадежно и обрывисто,

как горный камнепад:

— Всё, Семён Лукич, добегайся! Теперь ты наш! Сколько верёвочке ни виться, а конец всегда у нас! — следовательно хохотнул.

Потирая потные ладони, он вернулся за стол, открыл ящичек и выложил серую папку, перечеркнутую по диагонали жирной красной линией. Линия эта предупреждала, что тот, чья биография хранится здесь, опасен своей склонностью к побегам.

Всего-то три дня, как взяли, а гляди ты, уже не только докопались, а и личное дело из Москвы успели пригнать. Да-а, работает система, не зря легавые свой хлебушко с маслицем жуют.

Семён, опешивший в первые секунды, сейчас подобрался и неожиданно даже для себя успокоился и мысленно махнул рукой: будь что будет.

Суд проходил закрытым. Семёна как привели в зал в наручниках, так и оставили в них до зачитывания приговора. По совокупности прежних «заслуг» — побегов и взлома заводской кассы — Семён был осужден на двадцать лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительных трудовых лагерях. Первым этапом так же, в наручниках, он был отправлен в старую, мрачную, похожую на средневековую рыцарскую крепость с каменными стенами метровой толщины харьковскую тюрьму — ждать своего «покупателя».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. ПЕСНИ ХАРЬКОВСКОЙ ТЮРЬМЫ

Просторной, с тремя зарешеченными оконами-амбразурами и двумя рядами двухъярусных нар, а также каменным мешком-карцером в глубине, была камера, в которой Семён перекантовал зимнюю стужу в ожидании, когда румяные краснопогонники-«покупатели» наконец снизойдут до него. Почти каждую неделю кого-нибудь из сокамерников выгребали на этап и определяли на исправление в недалекие лагеря. Но красная жирная полоса в личном деле Семёна была подобна невидимой зловещей стене, за которую покупателям даже и заглядывать-то не хотелось. Этот неуправ-

ляемый арестант, как правильно думали они, ничего, кроме подмоченных показателей, им не даст. Да и зачем возиться, когда можно эту серую папку небрежно и брезгливо отбросить в сторону, благо выбирать есть из чего?..

Но жизнь она везде жизнь. Семён и здесь неплохо отмазался в карты. Харч, курево, тряпки — все это под рукой: бери — не хочу. Да и народ подобрался в основном подходящий: у окна, недалеко от Семёна, скучал задумчивый вор в законе, около — неспешная свита, по вызову подлетали и, получив указания, исчезали «шестерки» с бегающими беспощадными глазами. «Мужики» кучковались по своим углам.

— Давай, дядя, делись с парнями, здесь тебе не твое министерство, — услышал Семён шум на шконке у дверей и обернулся от окна, в котором с любопытством только что разглядывал крыши и окна жилых домов за тюремной, высокой, с кольцами колючей проволоки поверху, оградой. Тюрьма располагалась в черте города. — Ты врубись, дядя: хата у кума — это не курорт, и хозяева здесь — мы. Это там, на воле, ты был замминистра. Да наслышаны мы: решил стибрить у родного государства ткани. И подумайте только, люди добрые, не какой-то завалящий отрез, а самые что ни на есть километры первосортного ситца, шелка и крепдешина! — «шестерки» плотным кольцом обступили сутуловатого, с благородным породистым, но каким-то потерянным лицом мужчину средних лет. И самый бойкий из них, долговязый малый по кличке Нюхач, вдохновенно витийствовал: — И что же провернул этот дядя? Он приказал своим поделщикам-директорам гнать тканевые ленты на фабриках легкой промышленности нашей славной Украины всего-то на один-единственный, не учтенный нигде сантиметр поуже, чем положено. А какой навар этим расхитителям социалистической собственности давал этот самый сантиметр с многих километров выпущенной ткани, мы можем судить по крайне скромному сроку в двадцать пять годков, что ему отвесило наше родное правосудие. Забирай, братва, всю посылку, нечего народному врагу жрать колбаску да балык.

— Сгинь, шушера. — Семён был уже рядом. Шкальё расступилось. Семён обвел тяжёлым взглядом прячущих от него глаза «шестёрок» и, остановившись на сутулой фигуре бывшего замминистра легкой промышленности Украины, сказал тому негромко, но твёрдо: — Возьми посылку, она ведь твоя.

После чего неторопливо вернулся к окну с широким и углублённым подоконником — разглядывать дальше весенние блики на чисто вымытых к Первомайскому празднику стёклах соседних вольных домов. Блатные тоже наблюдали за всем происходящим; когда Семён отошел к окошку, они переглянулись с вором, тот слегка покачал седой головой, мол, мужик правильный, не трогать.

Воспрянувший духом замминистра разложил на своем одеяльце снедь и пригласил сокамерников отведать гостинца с воли. История эта имела последствием один весьма положительный факт для арестантов. Теперь в камеру еженедельно подкупленные вертухаи доставляли увесистую посылку с деликатесами для вельможного сидельца, и он щедро делился продуктами с Семёном, мужиками и блатными. Иногда крохи перепали и «шестёркам», но весьма редко.

Сидел в их камере за доведение неверной жены до попытки самоубийства оперный певец. Это был молчаливый красивый мужчина с изысканными манерами, которым здесь, конечно, не было абсолютно никакого применения. Но породу в карман не спрячешь. Камера относилась к нему не только с сочувствием и пониманием, но присутствовала в этом отношении и немалая доля уважения. А дело у певца и вправду было необычным. Случай, казалось бы, банальный: ну, застал муж жену с любовником, а там уж всё зависит от степени любви и темперамента рогагоносца. Певец жену, надо полагать, любил. Но и честолюбия, видимо, тоже лишён не был. Убивать голого, перепуганного, в одном носке с дыркой на пятке сопляка, зав литературной частью их театра, он не стал. А приказал тому одеться и привести себя в порядок. Укрывшейся же под одеялом обнажённой жене металлическим, ровным

голосом посоветовал лежать смирно и не вздумать трепыхаться: сразу, мол, убью. Вышел на минутку в ванную комнату и вернулся оттуда с бритвенным прибором, мыльницей и кисточкой. Все это торжественно вручил трясущемуся любовнику, рывком сорвал с жены верблюжье пышное одеяло и кинул себе под ноги. Растеленная по кровати голая жена слабым движением лишь прикрыла длинными точёными пальчиками пианистки малую часть упругой своей груди с крупными, в тёмно-коричневых кружках сосцами. В глазах у женщины застыл ужас, слезы текли по матовым соблазнительным щёчкам и с влажного подбородка скатывались в ложбинки ключиц. Певец отвёл взгляд от жены, жестом подозвал к себе любовника, указал литератору на темноволосый пушок внизу пупырчатого, подрагивающего живота неверной супруги и приказал тщательно побрить это место. Когда дело было сделано, он достал из кармана портмоне, раскрыл его, извлёк оттуда десятирублевую ассигнацию и вручил окончательно потерявшему возможность что-то соображать любовнику: «Это тебе за хорошо выполненную парикмахерскую работу. Пошёл прочь, цирюльник!» И вышвырнул того за дверь. Воротясь в спальню, муж снял со стены их свадебную, помещённую в изящную рамочку фотографию, вытащил её и, порвав на мелкие кусочки, высыпал на плачущую жену. А под стекло рамки втиснул разглаженный червонец и повесил этот новый символ их семейного благополучия на прежнее место, тихо сказав при этом: «Снимешь — убью». С этого дня певец перебрался спать на роскошный диван в зал, но каждое утро начиналось с того, что он входил в спальню, мягким прикосновением руки будил жену, вручал ей сухую тряпку и заставлял тщательно протирать стекло на рамке. Всё это он делал спокойно, не проронив ни слова, он вообще с женой теперь не разговаривал, но и развода не давал. Так продолжалось полгода. Однажды вечером, певец в это время был в театре, по какому-то незначительному пустяку к ним наведалься тёща. У нее имелся свой ключ, она отворила дверь и прошла в апартаменты, окликнула дочь, ответа не было. Старушка заглянула на кухню и через полутем-

ный коридор направилась в спальню, где горел слабый ночник. Дочь, одетая в дорогое платье с глухим по тогдашней моде великолепным воротом и брошью с сапфирами на груди слева, разметавшись на смятой постели, лежала уже без сознания. На полу рядом валялись коробочки от таблеток и пакетики из-под порошков. Дочь спасли, а зятя осудили на пять лет. И теперь он, как и многие из арестантов, ждал отправки в лагерь.

В мае в камере стало душно, и тюремное начальство разрешило открывать массивные зарешеченные окна. Вечерами на закате певец садился на каменный подоконник поперёк окна, обращал свое лицо на волю и начинал петь. А как он пел!.. Мощный баритон звучал не только над квадратным двориком для прогулок заключенных, не только часовые на вышках по углам забора поворачивали головы в синих, с малиновым кантом фуражках; распахивались окна, люди выходили на балконы многоэтажных домов близлежащих городских кварталов и слушали пушкинское:

*Сижу за решеткой в темнице сырой,
Вскормлённый в неволе орёл молодой.
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюёт под окном.*

*Клюёт и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно;
Зовёт меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!»*

*Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!»*

Заканчивалась песня, и в наступившей звонкой тишине вдруг раздавались отдалённые, приглушённые расстоянием аплодисменты и слышалось с воли, с балконов и окон восторженное женское «браво!».

Этого кругленького, похожего на бочонок, с пухлыми ручками и короткими, косолапо подвернутыми ножками мужичка арестанты ждали. Однако два дюжих охранника, втолкнувшие

того в камеру, провели затравленно озирающегося мужичка сразу в кандей и заперли на внутреннюю, проворачивающийся со скрежетом, замок. Выходя из камеры, один из конвойных бросил: что, мол, братва, не выгорело, он нам до суда нужен живым. Арестанты понимающе закивали стриженными головами.

Спустя полчаса после ужина камера запела. Открылся глазок на внешней железной двери, недоумённый надзиратель оглядел стоящих посреди камеры и сидящих на шконках и подоконниках поющих заключенных, хмыкнул и защелкнул глазок. Распевка так распевка, абы не бузили!

Накануне днём через растворённое окошко по верёвочной повеле из камеры с нижнего этажа прислали маляву. В ней кратко сообщалось, что к ним направляют одного типа, зверски изнасиловавшего и затем убившего свою одиннадцатилетнюю падчерицу. И сейчас под пение бодрых советских маршей зэки вершили свой суд. Просунув в тесный каменный мешок, метр в ширину и два в длину, через объемистый глазок в двери метлу на прочном деревянном черенке, она всегда стояла у стены рядом с парашей, арестанты, периодически меняясь, щекотали жестким венником забившегося в угол насильника. Идиотские истеричные, душераздирающие хохот и хрюканье, доносящиеся из карцера, гасили громкое хоровое пение. Так продолжалось, пока за дверью кандея всё не стихло. Зэки вытащили метлу и вернули её к бачку с парашей. Переполох, вызванный смертью насильника, быстро улегся: дверь в кандей заперта, замок цел, тюремный врач констатировал разрыв сердца, решили, что негодяй кончился от угрызений вдруг проснувшейся совести. И дело закрыли.

А в первых числах июня нашлись «покупатели» и для Семёна. И не только для него, а и для других сокамерников, у кого срок от десяти лет и выше. Поздно ночью всех их, предварительно подвергнув жесточайшему, до узелка и нитки шмону, погрузили в глухие «воронки» и увезли на харьковский товарный перрон. Там при слепящих огнях прожекторов и злобном лае натасканных овчарок их сначала посадили на корточки, пересчитали, а потом, отрывисто

выкрикивая фамилии, через двойную цепочку автоматчиков бегом погнали в вагончики. Дошла очередь и до Семёна.

— Заключение Семён Лукич Манаков, он же Семён Лукич Молоков, он же Илья Васильевич Ананьин!

— Здесь!

— Бегом марш в вагон!

Под утро, когда в узенькие продолговатые запершённые щелки-оконца под потолком стал просачиваться снаружи серо-молочный свет, а в приснопамятном столыпинском вагоне проступили очертания трехъярусных нар, лязгнула сцепка — состав, дёрнувшись, выровнялся и потянулся на восток.

ЧАСТЬ II. КОЛЫМА

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

«Я ПОМНЮ ТОТ ВАНИНСКИЙ ПОРТ»

Месяц везли их этап через всю Россию, то загоняя в тупики, то открывая зелёный свет. Везли, пока не кончились, причем в самом буквальном смысле, рельсы. Жарким июльским днем вытянул тудяга паровозик, пыхтя и посвистывая на крутых таежных поворотах, из кудрявых, поросших дальневосточной березой и темным игольчатым ельником невысоких сопок на прибрежную полосу Татарского пролива десяток вагончиков. Побережье было изрезано скалистыми, выступающими в море, безлесыми, с выгоревшим редким кустарником косогорами. В их пологих, зигзагообразных складах лежали огороженные глухими заборами с колючей проволокой и вышками по углам лагеря Дальстроя. Всего их здесь насчитывалось пятнадцать, и в каждом до десятка тысяч заключенных. Жизнь... и какая жизнь кипела здесь, на одной из самых гигантских пересылок Советского Союза!.. Ниже, в овальной, вытянувшейся на несколько миль глубоководной бухте, в море были выдвинуты бетонные причалы Ванинского порта. Рядышком деловито сновали юркие буксиры, а на рейде поодаль дымили циклопические океанские лайнеры — плавучие тюрьмы, каждая

вместимостью до пяти тысяч арестантов.

Только через две недели подошла очередь Семёнову этапу грузиться в гулкие и глубокие трюмы огромного корабля с многозначительным названием «Дзержинский». В трюмы эски спускались по крутым металлическим лестницам с отполированными поручнями. Как только последний заключенный ступил на клепаный железный пол, лестницы подняли и люки задраили. Но в трюмах было относительно светло: свет давали круглые иллюминаторы, расположенные по бортам, выше ватерлинии. Пять тысяч арестантов, втиснутых в четыре автономных отсека по одной тысяче двести пятьдесят человек в каждый, были на время плавания — до магаданской бухты Ногаево — предоставлены сами себе. Те же деревянные многоярусные нары, только от материковских они отличались тем, что вдоль края нар были прибиты широкие доски, чтобы во время качки либо шторма люди не вываливались со своих лежанок. Посредине трюмов, как раз напротив люков стояли огромные чаны. Назначение этой ёмкости из нержавеющей стали в своем отсеке Семён поначалу никак не мог понять. Однако вскоре все выяснилось.

Вечером открылся люк, и на веревках были спущены в трюм несколько десятков бумажных мешков. Сверху прокричали: «Получите ужин! Да смотрите там, делите поровну — каждому ломоть хлеба и кусок горбуши». И люк задраили. Заключенные самоорганизовались. Еда была поделена примерно поровну, хватило практически всем. Смущало только одно: почему рыба крепко соленая, а ни баланды, ни воды не дают. Утром процедура с пищей повторилась. А к обеду люди зароптали и, чтоб их услышали наверху, на палубе, стали яростно стучать и бить чем попало по бортам, по порожнему железному чану и кричать в тысячи пересохших глоток: «Воды, воды!!!» Вновь открылся люк, и в него метра на два вниз был спущен пожарный шланг. И полилась, забрызгала по стенам чана живительная влага. Да ведь это всего лишь ничтожная капля на такое количество жаждущих! Люди, давя друг друга, бросились к чану, кто-то с заветной алюминиевой кружкой, кто-то срывал на ходу с ноги

ботинок и норовил зачерпнуть в него побольше воды, а кто-то уже даже не стонал, раздавленный товарищами по несчастью и лежащий теперь с выпученными, потухшими глазами на полу. Он и мёртвый помогал тем, кто невольно стал причиной его гибели, потому что на его истерзанное тело вставали, чтобы ловчее дотянуться до воды и утолить нестерпимую жажду. Конвойные, состоящие в основном из широкоскулых и узкоглазых казахов и мешковатых, с продолговатыми носатыми физиономиями азербайджанцев, сверху наблюдали эту апокалипсическую картину, изредка на ломаном русском весело комментируя и отпуская шуточки в адрес обезумевших арестантов. Но не все из охраны были такими. Вот подошел к веселящейся группе рослый голубоглазый сержант-славянин, бесцеремонно отодвинул сослуживцев от люка, подтянул шланг и стал поматывать им из стороны в сторону. Вода полетела вниз, рассыпаясь на мириады пресных дождинок. Сдавленные, смятые в невообразимую кучу люди в трюме, словно птенцы, подняли лица вверх и раскрыли пересохшие рты. Капли попадали на измождённые, заросшие щетиной лица, в запавшие слезящиеся глаза, а некоторым везло, и они судорожно и счастливо сглатывали эти капельки жизни.

На третий день плавания Семён почувствовал, что его меньше стала мучить жажда, а сам паёк с куском солёной горбуши и ломтем чёрствого хлеба с каждым разом становился почему-то вкусней и вкусней. Видимо, включились резервы молодого организма, и он, как это ни парадоксально, освоился и в этих диких обстоятельствах. А здесь еще, когда «Дзержинский», обогнув Сахалин, выбрался на коварные просторы Тихого океана, обрушился на них семибалльный шторм. Это был уже второй апокалипсис за неделю. Людей выворачивало, весь пол в трюме был заблёван. Для сорока трёх арестантов этот первый шторм стал и последним. Когда океан улёгся, умерших отволокли в дальний и весьма холодный угол трюма и положили рядом с десятком скрюченных тел — жертв давки, качки и неизбежной при таком скоплении отпетых эзков поножовщине.

ГЛАВА ВТОРАЯ. «ГЛЯНЬТЕ-КА, ЗДЕСЬ ДАЖЕ ПЧЁЛ ДЕРЖАТ»

В бухту Ногаево «Дзержинский» вошел на следующий день за своим предшественником, тоже плавучей тюрьмой, пароходом «Ногиным». Когда два мощных буксира подтягивали «Дзержинский» к пирсу, на «Ногине» давно уже завершилась выгрузка заключенных, сейчас из трюма извлекали мертвых, а их из пяти тысяч живых и здоровых, погруженных в Ванинском порту, оказалось шесть сотен. Позже, когда были подсчитаны потери на «Дзержинском» и начальство «Дальстроя» сравнило ущерб, то корабль, носящий фамилию «железного Феликса», предстал в более выгодном свете: здесь до пункта назначения живыми не довели всего-то четыре сотни заключенных.

На причале стояли в ряд открытыми бортами к морю грузовики, на которые штабелями зэки складывали своих погибших товарищей. Эти похоронные автомобили курсировали между портом и кладбищем в отдаленных от города сопках. Чуть в сторонке от этой невеселой процессии виднелся еще один ряд «студебеккеров» с нарощенными бортами. Внушительная колонна машин была предназначена для доставки живых в пересыльный лагерь на окраине Магадана.

Жаль было Семёну расставаться со своим синим бостоновым костюмом, да ведь его особенно никто и не спрашивал, просто их группу, выгрузив в глухом двореке пересылки, загнали в просторный предбанник и заставили раздеться донага. Быстро скинув с себя одежду и ожидая, пока разденутся другие, Семён смотрел по сторонам. В углу помещения стоял широкий сосновый чурбан. Рядом с ним возвышалась пестрая горка порубленной в лоскуты одежды. Невысокий солдатик острым топориком тюкал по подтаскиваемым другим служивым брюкам, пиджакам, рубашкам.

Помывочная с душевыми у стен была, если можно так выразиться, сквозной, поскольку арестанты вошли в одни двери, а наскоро сполоснувшись, вышли в противоположные, где вертухаи пошвыряли им перетянутые жидкой

веревочкой комплекты с серой робой из грубой ткани и летними, тоже грязновато-серыми кальсонами и нижней рубашкой. Дали еще пять минут, чтобы зэки выбрали себе по ноге обувь, твердые кирзовые ботинки. После этого их выгнали на улицу, где, проведя перекличку, погрузили в кузова все тех же «студебеккер» впритык друг к другу, так, что кто-то пошутил: набили, как селедку в бочку. Заскрежетав, раскрылись огромные ворота пересылки, и колонна в несколько десятков машин с автоматчиками в кабинах и в сопровождении взвода вооруженной охраны выползла из Магадана на сусуманскую трассу.

Семён, прижатый к борту, с любопытством поглядывал на невысокие сопки с редким лесом, на зеленеющие и поблескивающие водой на солнце необширные болотца, на хибарки-временки за обочинами трассы.

— Гляньте-ка, братцы! Пасечники! — Семён мотнул головой, поскольку руками, вытянутыми по швам и прижатыми одна — к шершавой бортовой доске, другую придавил сосед справа, — не шевельнуть. У хибарок действительно копошились какие-то люди в сетках, напоминающих те, что всегда используют пчеловоды в своей работе. — Вот только ульев что-то не видать.

Все объяснилось, когда колонна километров через десять сделала вынужденную остановку. Вот тогда-то зэки и взвыли: руки прижаты, освободить их совсем не просто, а гнус, не сдуваемый встречным ветром, так облепил лица, что живого места не осталось. Да мало того, эти крохотные кровососущие проникли и под робу, вонзили свои хоботки, вызывающие страшный зуд, во все открытые участки тел горемык. Теперь эти люди на своей шкуре удостоверились, что разговоры на этапах о том, как за одну ночь эта гнусная тварь объедает привязанного к дереву в тайге человека до костей, вовсе не какие-то досужие байки, а так оно и есть. Благо, заминка их на дороге длилась недолго, а то бы неизвестно, что с ними стало, — может быть, в отчаянии даже и на автоматы кинулись. Таков он был, этот первый урок Колымы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. «ЗВЕЗДА УРАЛА УВЯЛА»

В Сусумане арестантов поместили в тесные от большого наплыва вновь прибывших пересыльные бараки. Шмон проводился неожиданным и часто, перетряхивали нехитрый эковский скарб и шмотки и днем и ночью. На третий день, под утро, в слепящих огнях прожекторов, под остервенелый лай рослых овчарок загнали большую партию заключенных в оборудованные для перевозки людей грузовики, и те, урча, поползли по зыбкому в оттаявшей вечной мерзлоте большаку в отдаленный лагпункт на берег своенравной Колымы.

Еще на пересылке мужики условились держаться вместе, все-таки их почти два этапа, и при входе в лагерные бараки не подчиняться, а биться со старожилами до последнего. Стоит дать слабину, прогнуться — останешься бесправным рабом, в лучшем случае до прибытия следующего этапа. И ничего, что после тотальных шмонов у них нет ни финок, ни заточек. Если встать стеной, то будет сбить их нелегко.

Грузовики остановились снаружи перед вахтой, огороженной высоким забором зоны, что утрюмо громоздилась в ложине между поросших причудливо изогнутыми карликовыми березками пологих сопки. Прибывших построили в колонну и под дулами автоматов провели на территорию лагеря. Там их разбили на группы и определили, кому идти в какой барак. Грело северное солнышко. Здесь, внутри лагеря, не было ни гнуса, ни мошкар — стой да напиться солнечной силой. Но вот дошла очередь и до Семёна. Его направили в группу из пятнадцати человек, среди которых и похудевший замминистра, и знакомый еще по плаванию на «Дзержинском» земляк-уралец Толик — отпетый урка и никогда не унывающий весельчак. До барака, второго от глухого заключенного забора, их проводил вертухай с красной широкой повязкой на рукаве добротного серого пиджака. Указал на дверь и исчез. Мужики подобрались, переглянулись и, распахнув двери, ступили в сумрак плохо освещаемого помещения. Прямо за тамбуром был свободный метра четыре окружностью промежутки, дальше вглубь

шел неширокий проход между двухъярусными нарами.

Их ждали. Только они переступили порог, как двери захлопнулись, и сзади выросли угрюмые бугаи с хищно поблескивающими заточками в руках.

— На середину, — хрипло скомандовал один из них.

Прибывшие невольно подались вперед от темных дверей к тусклому свету на свободной площадке и оказались прямо перед двухъярусными нарами, которые в тот же миг ошетились двумя десятками зёков с перекошенными в неверном свете и озлобленными физиономиями. В руках у этих было что-то наподобие дротиков с прикрученными веревками и проволокой ножами, виднелись два-три зловещих лезвия топора.

— Я — «Звезда Урала». Поздравляю вас с прибытием на чудную планету под названием «Колыма», — в проходе, на безопасном расстоянии от прибывших стоял плотный, среднего роста азиат. — Мы будем к вам благосклонны, если вы безоговорочно нам подчинитесь. Что нужно делать, вы знаете. Иначе — смерть! — и, сверкнув в тусклом свете раскосыми глазками-буравчиками, татарин резко и громко бросил: — Покоряйтесь!

Что тут началось! Спутники неуклюже, с шумом попадали, ткнувшись испуганными лицами в пыльный пол, и покорно вытянули вперед безвольные руки. И лишь Семён и Толик остались стоять. Толик был ближе к нарам. Семён в какие-то доли секунды краем глаз зафиксировал, как тело земляка, в которое одновременно вонзилось десятка полтора ножей, барачные зэки на самодельных дротиках подняли и, пронеся по воздуху над замеревшими на полу этапниками, бросили в угол. И тут же над головой Семёна сверкнуло широкое лезвие прикрученного к деревянному черенку топора. В последний миг парень успел отшатнуться, чтобы топор не раскрыл пополам ему череп, но все же скользящий удар пришелся в висок. И Семён потерял сознание.

Первое, что, очнувшись и еще не открыв глаза, почувствовал Семён, это запах больницы и

чистых простыней, а еще необыкновенную легкость в теле и какую-то отдаленную тупую боль в виске. Потом он открыл глаза. Белые стены, белые простыни, белесый цвет неба в оконном проеме и приглушенный шум и шорох рядом. Семён повернул на подушке голову набок, чтобы лучше рассмотреть, что же это за шум. Из просторной палаты выходила в окружении военных с накинутыми на плечи белыми халатами женщина, чье лицо показалось Семёну родным и знакомым. Он слабым голосом спросил соседа, сидящего на кровати напротив, кто, мол, это?

— Лидия Русланова, — последовал ответ.

Семён приподнял голову, чтобы еще раз увидеть прославленную русскую певицу и народную любимицу, тоже, как он слышал еще на материке, зэчку, но свита уже покинула палату.

— Душевная женщина, — уловив, что Семён смотрит вопросительно на него, сказал сосед. — У неё тоже срок. От мужа своего, генерала, не отказалась, не предала, вот и вlepили ей как соучастнице. А в чём вина-то? В том, что трофеев из Германии привезли. Так все везли. И правильно делали. Они, гады, у нас полстраны пожгли, сколько людей безвинных угробили, осиротили. Надо бы всю эту Германию разобрать по кирпичику и нам — на восстановление. Чтоб неповадно было в другой раз так пакостить. А у Лидии Руслановой теперь негласные гастроли по Колыме. Начальство-то сразу, как ей огласили приговор и привезли на Дальний Восток, смекнуло, какая может быть выгода от известной на всю страну сиделицы. И втихаря поставило дело это на лад. А Лидия, она по-настоящему народная, и здесь тоже с народом. Нас вот проведать не побрезговала, пришла. Поздно ты очнулся, браток, а то бы услышал, как она здесь распоряжалась. Оно ведь и то, как узнало начальство, что знаменитость наш лазарет посетит, так такой шмон здесь устроили, простыни, наволочки, матрацы вонючие обменяли, бельишко наше тоже. Видишь, и ты в свеженьком в этот бранный мир вернулся. Жалко, что на концерт её не попадем. Её ведь, Лидию-то нашу, — продолжал словоохотливый сосед, — возят теперь по ла-

герям, где она выступает со своими песнями не только перед краснопогонниками, а и нам, горемычным, толика радости перепадает. Слышал я, это её, Руслановой, такое условие, а она бабёнка крутая. Ну да ладно, песен не послушали, но хоть её живьем, воочию узрели. Вот и ты сподобился очухаться в самый раз. А хоть знаешь, сколько ты был без памяти, на волосок от смерти? Больше месяца с тобой здесь экспериментировали, жил-то на глюкозах и системах. Сам врач, он у нас добрый, гадал: выживет парень или нет. Сначала большое сомнение у него имелось, а потом, понаблюдав, сказал: жить будет, организм не только молодой, но и такой, что дай бог каждому. Да, забыл представиться: Шарик.

— Как Шарик? Имя, ты извини, земляк, собачье какое-то, — Семён чувствовал, что сидящий перед ним невысокий, сухошавый экз средних лет не такой уж и простой, каким прикидывается. «Какова его игра?» — подумал про себя, а вслух произнес: — Прозвище-то больно обидное.

— Ничего подобного, браток, — сосед весело рассмеялся. — Сам посуди, что такое шарик? Это предмет, который катится туда, куда ему заблагорассудится, он и взлететь может, да так высоко, что не достать никаким вертухаям золотушным. Кстати, тобой здесь недавно интересовались, как, мол, ожил или саваншить. И знаешь кто — твой крестный, тот, что всю бодягу тогда в бараке замутил. «Звезда Урала», как помпезно он себя величает. Ему, ссучившемуся вору, надо свой авторитет подмоченный утверждать, как он полагает, вот и сколачивает лагерную кодлу, ломает мужиков. А ты, видишь, не сломался. Так что жди скоро гостей, браток.

И точно, через день Семён только прикемарил после обеда, как его кто-то осторожно тронул за плечо. Семён машинально сунул руку под подушку, где лежала припрятанная, подаренная словоохотливым соседом заточка, и настороженно открыл глаза. Над ним склонился мутноватый мужичонка и, воняя гнилым щербатым ртом, прошепелявил, что к нему, к Семёну, сейчас наведается сам «Звезда Урала». Готовься, мол, парень, но дергаться не взду-

май, враз добьем. Окончательно проснувшийся Семён обвел напряженным взглядом палату. У окон стояли в накинутых на плечи халатах трое субъектов с характерными красными рожами. Обитатели палаты занимались каждый своим незначительным делом: кто штопал дырку на больничной пижаме, кто читал помятую газетку, кто делал вид, что спит, укрывшись от назревающих событий стеганым одеяльцем. Словоохотливый сосед, накрывшись с головой простынкой, тоже будто бы дремал.

Однако никаких особых событий не произошло. Подошедший через минуты три татарин цыкнул на «шестерок», чтоб слиняли к дверям, присел на краешек кровати и вполголоса обратился к Семёну. Со стороны казалось, что говорить урке было трудно, слова он как бы через силу выдавливал из себя.

— Жив, значит. Ну что ж, выздоравливай. Я тут тебе гостинец принес — яблочки с материка нонешние, папиросы «Казбек», сгущенку. Ешь, поправляйся, а про старое забудь. Осечка вышла у нас с тобой, — Семён не мог уразуметь, жалеет, что ли, посетитель о том, что не убили сразу Семёна или что-то другое, совсем уж непонятное имеет в виду этот черноволосый, с бегающими прищуренными буркалами землячок. А дальше случилось то, чего Семён ну никак не ожидал. Татарин скрипучим тяжелым голосом продолжил: — Ты уж прости меня, Сёма, за всё. Давай дальше будем рука об руку. Твоя настырность и моя власть — все нам покорятся, зоной править станем вместе. Заживем, как у аллаха за пазухой.

— Не-эт. Говоришь, ты — «Звезда Урала», — Семён нехорошо усмехнулся. — А я скажу так: «Звезда Урала» увяла!

Парень еле сдержался, чтоб не пырнуть посетителя в жирную бочину зажатой в правой руке под одеялом заточкой. Поэтому он, приподнявшись на подушке, демонстративно отвернулся от растерявшегося татарина и стал смотреть в окно на разноцветные осенние сопки, показывая тем, что разговор окончен. Ярость душила его; выходило так — ежели не получилось убрать сразу, значит, будем дружбу водить да совместно авторитет нагуливать до первого удобного случая, чтоб тишком где-нибудь, по-

сле того как в лагере уляжется буза и ропот на блатных за их беспредел, пришить Семёна. Он слышал, как тяжело поднялся и, громко топоча каучуковыми толстыми подошвами американских ботинок, ушел «Звезда Урала» из палаты.

— Что же ты с ним так невежливо, — раздался над ухом еще не остывшего от встречи Семёна голос Шарика. — Авторитет надо уважать, а ты его по шапке — да мордой в грязь. Да, забыл тебе, Сёма, сказать: выписывают завтра меня. Хватит, говорят, жирком обрастать, бронхи будто бы чище стали. А ты набирайся сил и ни о чем печальном не думай. Всё в руках всевышнего и кума!

Спустя неделю к ним в палату привезли покалеченного драгмашиной зэка, он оказался из того же лагеря, что и Семён. Среди негустых новостей одна впрямую касалась Семёна. Два дня назад утром, отправляясь в общую уборную справить нужду, зэки наткнулись на сидящего на очке мертвого ссучившегося вора с помпезной кличкой «Звезда Урала». Он был убит одним ударом ножа прямо в сердце.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРВАЯ ЗИМА

Вернувшись из лазарета в барак, Семён задурел. Бригадир и отрядный жаловались лагерному начальству на неподчинение приказам упрямого зэка.

— Ты почему отказываешься от работы? — наседали на Семёна начальство. — Ведь ты же мужик, а не блатной. Будешь норму выполнять — тебе срок скостят, досрочно освободишься. У тебя нет поражения в правах, можешь сразу уехать на материк. Так что давай в строй и — на прииск, колонна ждать не будет.

— Нет, гражданин начальник, мне беречь себя надобно, — дерзко отвечал мешковатому, с капитанскими золотистыми погонами замполиту Семён. — Пройдут годы. Ты, выслужив свои северные, будешь где-нибудь на солнечном Кавказе, среди минеральных источников беспечно прогуливаться с румяными внуками, а я все еще здесь буду колупать стылый грунт да мыть песок, отыскивая камешки желтоватого цвета на благо нашей Родины. Так что,

по-всякому, мне нужно набираться сил, чтобы потом, когда окончательно окрепну, работать только по-ударному.

— Ну что ж, будь по-твоему, — в тон Семёну произносил едва сдерживающий себя замполит, — на своем веку мы здесь и не таких артистов видывали и обламывали. Охрана, препроводите заключенного в барак усиленного режима, пусть он там на ледяном полу и без пайки обдумает с такими же весельчаками, как и за счет чего будет повышать свою производительность при добыче необходимого стране золота. Кстати, уж в БУРе-то с тобой цацкаться не будут. Так что оздоравливай дальше, парень.

Сентябрь на Колыме — первый месяц зимы, и, если общие бараки хоть как-то отапливались печами, в БУРах этого предусмотрено не было. Бунтари и провинившиеся долгими северными ночами спасались кто как мог. Уркам подкупленные конвойные тайно передавали тушенку, хлеб, спирт. Мужики перебивались мерзлыми сухарями да тепловатой бурдой, которую вертухаи, ставя ржавый бачок с этим пойлом один раз, в полдень, в тамбуре барака, насмешливо называли чаем.

И вот однажды конвойный негромко окликнул Семёна. Парень подошел. Тот, отвернув овчину теплого полушубка, извлек холщовый мешочек и, зорко поглядывая по сторонам, сунул его Семёну: это тебе, мол, от друзей. «От каких друзей?» — хотел спросить заключенный, да, вспомнив старую народную мудрость «дают — бери», молча спрятал гостинец под теплогрейку. В своем углу, выбрав минутку, когда рядом поменьше глаз, Семён осторожно развязал гостинец и поочередно вытащил на свет три банки говяжьей тушенки, фляжку спирта и десяток запашистых поджаристых сухариков.

В этот вечер наконец-то попиrowали, расположившись на дальних от входа в барак нарах, и мужики. Семён угощал, да и сами приглашенные пришли не с пустыми руками. Кто-то принес неведомо как раздобытую банку сгущенки, кто-то сэкономленные сухарики в крошках махорки, а один даже выложил на импровизированный столик слегка подмороженную головку невесты как попавшего сюда репчатого лука.

Это был поистине экзотический для подобных географических широт продукт. И как нельзя кстати, потому что кое у кого из заключенных уже начиналась цинга. Лук бережно разрезали самодельным, из расплющенного гвоздя ножичком на равные дольки, и пиршество началось. Урки хоть и косились, но не рыпались.

К концу первой зимы на Колыме Семён, издававший все «прелести» местных БУРов и ЗУРов (уже не бараков, а зон усиленного режима), стал втягиваться в однообразную и бесцветную, как холодное январское колымское небо, жизнь зэка—долгосрочника. В марте получил посылку с Урала от брата Александра. Еще осенью Семён написал ему письмо, где просил выслать дефицитного на севере репчатого лука. Больше трех месяцев тащилась через страну посылка. «...Но хоть дошла в целости», — думал Семён, под приглядом охраны отдирая взятыми у барачного сапожника старенькими пассатижами гвоздики на крышке и разворачивая оберточную серую бумагу. Куски сала в крупницах крупной соли и с дольками чеснока, прилипшими к розовой, в прослойках мяса мякоти, выглядели аппетитно и были целехоньки. А вот ядреные и тугие с виду головки репчатого лука, рассыпанные по ящику, на поверку оказались мягкими и дряблыми. Наверное, где-то по дороге сюда посылка была подморожена. Но даже и такой лук — это все равно витамины. Десны и зубы в эту первую зиму Семёну удалось сохранить.

ГЛАВА ПЯТАЯ. ШАРИК

— Давненько мы не виделись, Сёма. — Шарик открыто и весело ощерился в улыбке, бросая свой тощий сидор на нижние нары напротив, через проход, и подсаживаясь на заправленную стеганым одеялом постель, рядом с только что разувшимся и приготовившимся ложиться Семёном. — Будем соседями. Вишь ли, на дальних приисках не нужен я стал, сюда этапировали, к вам. А по мне, дак оно без разницы, абы срок шел. Я уж где только и не побывал, чуть не до Якутии по зимнику возили. А ты-то как, освоил колымские заповеди? Обвыкся?

— Да вот жив, как видишь, — Семён был рад встрече с этим таинственным человеком. Они разговорились. Выбрав момент, Семён решил задать Шарiku тот вопрос, что еще с лазарета не давал ему покоя: — Дело прошлое, Шарик, но ответь мне на одну зававыку. Хотя я, кажется, и сам знаю ответ, но все же: это ты, опередив меня, завалил «Звезду Урала»?

— Догадливый ты, Сёма. Да, я убрал эту нечисть с лица земли.

— Но тебе-то какой резон? Ты его, может, и знать не знал!

— Ошибаешься, брат. Я не первый год на Колыме, да и до этого жил тоже не на луне. Просто гадов этих не выношу, и все тут. Чем больше я отправлю этой заразы к праотцам, тем людям будет дышать свободнее.

— Ты, конечно, можешь не отвечать, но все-таки любопытно: кто за тобой стоит? Насколько я слышал, ты не законник, хотя и живешь по понятиям. И с блатными, и с мужиками ты свой. Меня вот упредил.

— Больно ты, Сёма, любознательный и открытый для той клоаки, в которой мы нынче с тобой обитаем. Здесь ведь лишнее слово стоит жизни. Ну, да ладно, нравишься ты мне, младшего братишку моего незабвенного шибко напоминаешь. Царствие ему небесное. Убили его в сорок третьем под Орлом. Вот ты спрашиваешь, под кем я хожу? А ни под кем и никогда. Я здесь всякой мрази сам и судья, сам и палач. Я ведь, Сёма, тоже воевал, и не где-нибудь, а в полковой разведке, с сорок второго и до Победы.

И Шарик, он же кавалер многих отобранных позже, при аресте, орденов и боевых медалей, старший лейтенант Пётр Никандрович Ермаков, поведал Семёну о своей закрученной в тугую спираль жизни. Рассказал он, как, вернувшись с войны в родной городок в низовьях Волги, не застал в живых своей любимой красавицы жены, честно ждавшей его все годы и буквально перед приездом Петра Никандровича наложившей на себя руки.

Работала Татьяна Михайловна бухгалтером в военкомате, на ухаживания разбитных щеголеватых офицериков-тыловиков не реагировала. Военком, демобилизованный по ранению

молчаливый майор, видно было, что держал ее сторону, урезонивал, как мог, этих по связям где-то наверху увильнувших от фронта жеребчиков. Бывало, не выдержит, вспылит и, прихрамывая, бросится к сейфу, где хранился его именной браунинг, да те, нахально похохатывая, разбегутся по своим кабинетам. Так вот и жили до того майского дня, когда изнуренная долгим лихолетьем огромная наша страна наконец-то взликовала победными салютами и праздничными застольями. Соорудили к вечеру славного дня под белоснежными цветущими яблонями и вишнями во двореке военкомата сдвинутые столы с выпивкой и закусками и работники этого учреждения.

Были искрометные тосты, были танцы, была неопишуемая радость от того, что все мрачное и страшное позади, а впереди ясное и счастливое завтра. Но не оказалось этого завтра у побывшей за общим столом и решившей пораньше уйти домой Татьяны. Молоденькие шустряки, распаленные выпитым, подстерегли женщину в темном проулке, зажали рот и уволокли на глухую полянку, на берег мутной городской речушки. Было их трое — тех, что, вдосталь позимывавшись над обезумевшей жертвой, уже за полночь оставили истерзанную женщину одну, а сами, смыв грязь и кровь с рук, как ни в чем не бывало вернулись к полуопустевшему к этому часу столу, освещенному специально подвешенными над ним фонарями.

Утром пришедшие поставить на пескарей мордушки подростки остолбенели, увидев мертвую женщину с растрепанными волосами и в изорванном платье, висевшую на толстом суку старого расщепленного тополя в углу поляны. Следствие виновных особо не искало: налицо факт самоубийства, хотя военком и изложил даже в письменном виде свои соображения по данному прискорбному случаю, однако никакого хода этому дано не было — знать, крепкая поддержка наверху имела у этих сопливых нелюдей.

С трудом опамятавав от жуткого и тягостного, раздавившего всё живое в душе известия, Петр Никандрович на третий день по прибытии в город сходил на кладбище, посидел у

свежего холмика, под которым покоилось все самое любимое, что оставалось у него в этой жизни. Вечером того же дня заглянул на огонек к одиноко живущему майору-военкому, где молча выложил на стол фляжку спирта. О чем проговорили почти до утра два фронтовика, это неведомо никому, но с восходом солнца Пётр Никандрович, свежий и подтянутый, гладко выбритый, бодро, будто бы и не было бессонной ночи, появился у каменной ограды военкомата. На груди его поблескивали в два ряда ордена и боевые медали, при ходьбе поскрипывали ремни портупеи: демобилизованный лихой разведчик-офицер явился вставать на учет по месту приписки.

Первого насильника он зарезал своей финкой, когда тот, смертельно побледневший, приподнялся из-за стола навстречу вошедшему. Второго молниеносным ударом в сердце прикончил прямо в дверях. Третий, опрокидывая столы и переворачивая стулья, пробовал уйти через окно, но окна в подобных учреждениях, как правило, зарешечены. Вот и сполз он с подоконника на пол с аккуратной дырочкой под левой лопаткой на коричневом кителе из дорогого сукна. После этого, отбросив финку с окровавленным лезвием в угол, вышел Пётр Никандрович в общий коридор навстречу военкому, спешащему к нему с двумя автоматчиками, но рук вверх не поднял. И поэтому бойцы вскинули оружие, готовясь в любую секунду сразить старшего лейтенанта очередью, но военком резко скомандовал «отставить!», сам проводил до карцера в конце коридора и там запер на ключ спокойного и равнодушного ко всему случившемуся Ермакова.

Статья Шарику корячилась расстрельная, но, учитывая прежние боевые заслуги и блестящую характеристику, присланную в суд из воинской части, в составе которой он воевал, а также приобщенные к делу письменные показания военкома, расстрел заменили двадцатью пятью годами Колымы.

В этот апрельский солнечный, но с морозцем день выпала Семёну поблажка: работа не с бригадой в карьере, а при зоне на одном из строящихся двухэтажных барачных бараков. Сидел он

себе на стропилах под крышей и выковыривал топором пазы в сосновых ошкуренных матках. Сквозь оконные еще без рам проемы хорошо была видна заснеженная, с расчищенными подходами площадка перед бараком. Вот на тропинке показался бригадир-еврей в добротной двубортной москвичке, известный в лагере стукач из «ссучившихся», как говорят, блатных. Деловитой походкой, похрустывая по насту подшитыми черными валенками, этот пухлый здоровяк, видно было, что спешил куда-то. Однако чей-то невидимый дружеский окрик остановил его. Секунд через тридцать Семён увидел приближающегося к еврею Шарика. Следом семенил конвойный в полушубке и с карабином за плечом. Шарик что-то весело сказал бригадире, они оба засмеялись и вошли в помещение. Теперь еврей и Шарик оказались в пролете между этажами, прямо под отложившим в сторону топор и затихшим Семёном. Его они, естественно, не видели. Какой интерес им задирать головы вверх? А они перед ним — как на ладони. Тучный бригадир был почти в два раза крупнее Шарика. Видно было, как он со снисходительным презрением поглядывает на что-то увлеченно доказывающего ему Шарика. Но высота мешала разобрать смысл того, о чем говорили внизу. Да, собственно, Семён и не прислушивался, меньше знаешь — крепче спишь. И вдруг краем глаза Семён отметил нечто интересное. Шарик, всё еще продолжая что-то весело рассказывать великану, жестом указал на оконный проем. Тот лениво повернул свое сытое, с крючковатым типичным носом лицо в направлении указанного. А Шарик тем временем неуловимым движением выхватил стилет, свободной рукой отогнул меховой левый ворот москвички. И вот уже из бригадирской груди торчит наборная рукоятка. Гигант пошатнулся и, тяжело ступая, пошел к выходу. Не дойдя до порога двух шагов, он грузно рухнул на свой неохватный живот, головой — на улицу. Встрепенувшийся конвойный живо передернул затвор и направил дуло на показавшегося следом в дверях Шарика. Тот громко крикнул:

— Не пали, служивый, попусту. Видишь, сдаюсь.

— Лягай на снег и руки — за голову, — истошно расхорохорился конвойный. — И не шевелись, враз стрельну.

От недалекой вахты на шум прибежали охранники. Шарика увели. Вскоре пришла команда бесконвойных заключенных с носилками, с едкой руганью погрузила громадный, еще не остывший труп и, так же с остервенением матерясь, утащила его в лагерный ледник, прибившийся в хибаре на задах зоны. Семёна никто не заметил.

Позже он узнал, что Шарика судили, а поскольку срок и так под завязку, дополнительных годков уже некуда лепить, то единственное, что смогли сделать шишки в золотых погонах, — это сослать его еще выше, вернее, ближе к Ледовитому океану. И если уж даже здесь, на средней Колыме, лето куцее и бледное, то там оно вообще с мышиный глазок. Наверное, этого несломленного искателя и вершителя справедливости в другое, да хоть бы и в недавнее время, скорее всего без долгих разговоров и в назидание остальным просто шлепнули бы, а дело бывшего разведчика списали в архив, но конец сороковых двадцатого столетия — это два-три года так называемой «эры милосердия». Тогда рябоватый усач высочайшим своим повелением отменил смертную казнь на шестой части земли, потом, правда, спохватился, и карающий, не успевший размякнуть бронепоезд продолжил свою давяльную. Однако этого чудного промежутка хватило, чтобы Шарик остался жить.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ОТОРВАННАЯ ПОДОШВА

Колымские будни — это изнурительная однообразная каторжная работа в сереньких сопках, обкусанных неглубокими карьерами с золотиносными жилами или рытье в мерзлоте поисковых шурфов. Орудия механизации — тачка, лом, кайло, лопата. Эскаваторы и бульдозеры — не везде и не всем.

В те годы население Колымы колебалось по численности от двух с половиной до трех миллионов человек. Теперь уж никогда, наверное, такого уровня заселенности этих нелюдимых

северных широт не достичь. Это тогда, в начале тридцатых, еще не остывшую и не опомнившуюся от горячки гражданской междоусобицы, а уже подброшенную на штыки сомнительного добровольно-принудительного энтузиазма и обстрелянную кинжальным огнем всеобщей подозрительности и доносительства страну можно было под улюлюканье да истошные вопли «распни!» и максим-горьковское «кто не с нами, тот против нас!» сворачивать в любой бараний рог и вытворять с ней всё, что только мог наслонявить в маниакальные и мохнатые уши новых правителей небезызвестный персонаж библейских сюжетов. Кровавое эхо того партийного зачина раскатывалось здесь до середины пятидесятых. Оно и в последующие годы не смолкло, но звук его и прежний эффект уняли.

А сегодня в России и таких людских ресурсов не сыскать, да и запасов золота в подобных масштабах не наблюдается, они в основном, увы, уже вычерпаны. Может быть, где-то у кромки Ледовитого океана есть богатые жилы. Да ведь и страна за полста лет, прошедших со времен, описываемых в этой непридуманной повести, убавилась не в одних лишь территориях, а и народ, к прискорбию, поубавился, да вдобавок и поизмельчал, избалованный порочными достижениями прогресса, давно уже прорвавшего все плотины и дамбы совестливого и необходимого. Справедливости ради надо сказать, что и в упоминаемые костоломные годы натиск на то сокровенное, что, собственно, и делает разрозненное сообщество цельным и нравственным народом, был необычайной силы и давления. (Стоит вспомнить одно лишь разорение православной церкви или истребление крестьян при насаждении колхозов). Но в ядре народном, у простых людей еще сохранялся дух общины, понятия святости и стыда.

Однако вернемся в русло нашего повествования. Большинство, причем самое подневольное, колымскому народу давали заключенные. Вторыми по численности шли те, кто бдительно стерег первых. Третьим негустым сословием здесь значились вольнонаемные, то есть те, кто прибыл сюда заработать или, как тогда говорили, «за длинным северным рублем». Жили

эти люди в поселках, в домах из бруса, среди семей лагерного начальства и прочей челяди.

Отношения между этими тремя категориями складывались по-разному. Например, Семён не раз, выиграв в «буру» за ночь граммов по сто золотого песка, обменивал по договоренности его у вольнонаемных на спирт, тушенку и табак. И все стороны оставались довольны. Куда уж пристраивали это «рыжье» вольняшки, Семёна мало интересовало, зато, освобождаясь от золота, он выходил из опасной черты, когда кто-нибудь из алчных товарищей по неволе мог, позарившись на металл, прирезать где-нибудь в укромном уголку либо когда при неожиданном шмоне вертухаи могли найти мешочек с золотым песком. А это уже в лучшем случае добавочные годы в его пухлое личное дело. А в худшем... Об этом и думать не хотелось! Буквально на днях вымотанный работой Семён как рухнул после вечерней поверки и отбоя на свои нары, так и проспал мертвецким сном почти до утра, лишь однажды ворохнулся он, потревоженный каплей с верхних нар, но, сонно проведя ладонью по лицу, повернулся на бок и снова провалился в забытие. Проснувшись утром, он глянул на свои ладони — они были в засохшей крови. Сосед с правых нижних нар сначала молча и понимающе указал рукой Семёну на его испачканное кровью лицо, а потом перевел свой угрюмый взгляд на верхние нары. Семён встал во весь рост и, уже примерно зная, что там есть, осмотрел постель соседа сверху. Этот недавно пришедший по очередному этапу урка вчера удачно откатал в «двадцать одно», сорвал приличный банк «рыж्या», а сейчас вот лежал окоченевший, с отрезанной, покоящейся отдельно на окровавленной подушке стриженной головой. Долго потом пришлось Семёну отмывать студёной водой из бочки в умывальном углу барака бурые пятна со лба и щеки. Конечно, как всегда бывает в таких случаях, вертухаи подняли шухер, прошла волна шмонов и допросов заключенных, кто что видел, кто что слышал. Но все в эту ночь спали на удивление крепко и даже без сновидений. А что касается «рыж्या», то никакого золота в перетряхнутых на сто раз матрасе и скарбе убитого и в помине не было.

Вторую свою колымскую зиму Семён почти до половины отмантулил в бригаде на карьере, что недавно начали разрабатывать за лесистыми сопками недалеко от их лагеря. Это в общем-то сказывалось на производительности: расстояние близкое, люди не так уставали от ходьбы, сбереженные силы правильно тратились при выемке породы в карьере. Может быть, Семён на этом участке и весну встретил бы, да вмешался, как всегда, господин случай.

Колонна заключенных, прибыв к дощатой раскомандировке как обычно поутру, была ознакомлена с нарядом. Семён, услышав, что он сегодня трудится на отколке и погрузке породы в тачки, расписался у бригадира в засаленной тетрадке в получении кирки, лома и, весело оглядев конвойных, расставленных через равное расстояние друг от друга по верху карьерного среза, стал спускаться к своему рабочему месту. В этот день ему выпало нагружать в тачки среди других заключенных и своему старому знакомцу по харьковской тюрьме — бывшему замминистра легкой промышленности Украины. Работа только закипала, когда тот, выбрав минуту, пока никого не было рядом, торопливо и сбивчиво обратился к Семёну:

— Нет моих сил больше тачку вверх толкать, чую, не выдержу, упаду. Что делать, Семё? Может, я подошву у ботинка оторву, и меня заменят на тачке? Кайлить-то я бы смог. Это же не ходить, а стоять на месте. А норму не выполню, баланды лишат, да могут и в карцер упрятать! Как быть, друг?

— Какие здесь могут быть друзья, Валентин! Каждый сам по себе. Да и я тебе какой советчик? Решай сам.

Еще одну ходку сделал Валентин. Пошатываясь, скатил он тачку и прислонил ее к скале. Сел на стылую землю и, стянув правый ботинок, поддел ветхую подошву острым базальтовым осколком, затем рукой надорвал ее и опять обулся. Заключенные тачечники, задержанные этой заминкой, недовольно покрикивали на сходящих уступа. Расталкивая их, подбежал сверху мордатый бригадир.

— Что за дела? Почему сбой в работе, саботажники? Ты чего, министр, расселся?

— Да вот, гражданин бригадир, подошва совсем оторвалась, ступать нету мочи. Вы меня замените кем-нибудь другим, а я бы встал на кайлу.

— Ты, собака, хитрее всех, что ли? На вот тебе, вражина! — и бригадир наотмашь врезал вытянувшегося в струнку бывшему замминистра в ухо, да так, что у того слетела шапка-ушанка с головы и сам он, ударившись о скалистый выступ затылком, медленно сполз на землю.

В то же мгновение стоящий рядом Семён перехватил в руках тяжелый лом и со всей силы припечатал разгоряченного бригадира вдоль спины этой восьмигранной железякой. Сипло ойкнув, бригадир ткнулся сытой мордой аккумулята в оторванную подошву Валентина и затих. В карьере воцарилась звенящая тишина, которую вскоре нарушило характерное клацанье винтовочного затвора. Это конвойный наверху, метрах в пяти, прямо над Семёном изготовил свое оружие к бою. Семён поднял руки и сцепил на темечке пальцы. Рукавицы и лом лежали перед ним около брошенной тачки. Рискую получить пулю, он разнял пальцы, быстро наклонился и подхватил теплые верхонки. Конвойный, безусый срочник из вологодских, угрожающе провел дулом от Семёна к верхнему срезу карьера, давай, мол, выбирайся, пока не пристрелил. Семён с руками за головой перешагнул через лежащего без памяти бригадира, прошествовал мимо пришедшего в себя и испуганно озирающегося вокруг Валентина, мимо посторонившихся молчаливых тачечников. Но едва лишь он выбрался из карьера, как подбежавший запыхавшийся старший конвойных с револьвером в руке скомандовал Семёну лечь на снег лицом вниз и руки — за голову.

Так и пролежал Семён около трех часов на колымской мерзлоте в телогрейке и ватных штанах, примерзших к обеду к снегу. Когда колонна выстроилась идти обедать в лагерь, Семён с большим усилием оторвал свое окоченевшее бесчувственное тело от земли и, с трудом передвигая затекшие ноги, встал в хвост колонны. Размявшись в ходьбе, Семён окончательно пришел в себя, вроде бы ничего не поморозил, теплой баландой отогреется. Но в хозблок по-

пасть в этот день ему было не суждено. Только прошли вахту, как конвойные отделили Семёна от строя и увели в БУР. Но и в этом ледяном бараке Семён забузил, и его за постоянное нарушение режима продержали на черствых сухарях и воде почти до первых оттепелей. Такой запомнилась Манакову-Молокову-Ананьину вторая колымская зима.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ДВА ВЕДРА БРУСНИКИ

Пусть и короткое, ошипанное заморозками с обеих сторон северное лето, однако щедрое оно на грибы, но больше все-таки на сладчайшие россыпи голубики, черники, морошки и особенно — рубиновой брусники. Это третье колымское лето Семёна выдалось как никогда урожайным. Окрестные сопки переливались в лучах янтарного солнца несказанным обилием переспевавших ягод. Да вот только арестантам, уныло топающим мимо такого богатства в серых колоннах под дулами карабинов, эту роскошь можно было пожирать лишь голодными глазами, жадно сглатывая при ходьбе табачную слюну. Шаг влево, шаг вправо считается побегом, а с беглецами здесь разговор один: девять граммов.

Еще не стёрся в памяти переживших зиму эзков апрельский случай. Морозным ясным утром после монотонной переключки с металлическим скрипом отворились широкие ворота на вахте, и колонна привычно потянулась из лагеря на прииск. Но как только последняя шеренга заключенных вышла за ворота, прозвучала резкая команда: «Колонна, стой! Направо!» На очищенном от снега пятачке около двух лежащих в ватниках и добротных телогрейках с незакрытыми изумленными глазами мертвецов бодро прохаживался, поскрипывая меховыми бурками и удовлетворенно похлопывая кожаными утепленными перчатками себя по бокам, сам кум — начальник лагеря. Вот он остановился и повернул свое тяжёлое и строгое, со шрамом через всю левую щеку лицо и хрипло и отрывисто бросил: «Так будет с каждым, кто задумает бежать из вверенного мне лагеря! Колонна налево! Шагом марш!»

Вечером до самых потаённых шконок дошестели подробности того, как всё произошло. Побег готовился скрытно, знали о нем всего несколько человек. Сначала уходить вызвались четверо блатных, но в последний момент двое отказались, упирая на то, что в распутицу, которая грянет со дня на день, якобы и до трассы, не говоря уж о материке, не дойти. Дескать, отложим до лета, когда и света вдоволь, да и тайга прокормит. Однако двое отчаюг, заручившись молчанием подельников, все же ушли вчера после вечерней поверки через тайно прорубленный лаз в заборе на задах, за лагерной санчастью. Воодушевленные удачным началом беглецы успели обогнуть лишь одну сопку, за второй они попали в яркие снопы автомобильных фар, ослепившие их неожиданно и сокрушающе. «Всё, начальник, сдаемся. Бери нас!» — прокричали в ночь арестанты. Из темноты выступили настороженные автоматчики, следом показался и загадочно улыбающийся кум. В правой руке его поблескивал вальтер. Продолжая улыбаться, начальник лагеря громко, чтобы слышали все, крикнул: «А вы мне живыми и не нужны!» Хлопнули два выстрела, откинувшие эзков на заснеженную обочину. Начальник лагеря, посмеиваясь, повернулся и направился пешком в сторону зоны. Вертухай, пропустив под мышками длинную веревку, обвязали убитых и, прицепив к заднему борту грузовика, подвезли остывающие тела эзков к вахте, где и уложили их на расчищенном участке.

Больше двух недель лежали несчастные на вечной мерзлоте, лица их окостенели и покрылись инеем. Ежедневно утром, идя на прииск в полдень, перед обедом и после него, и вечером, по возвращении с работ, арестантов на этом месте ждала одна и та же канитель: самодовольная рожа и хриплый рык кума и два зачоченевших трупа. А вот подельники, те почти в это же время нацепили на рукава красные повязки и перебрались в барак к вертухаям, надеясь, что бережёного кум сбережет. Любопытна и поучительна судьба этих двух стукачей, но о них позже. А пока вернемся в колымское плодотворное лето.

Настоящей мукой было для Семёна ежедневное хождение мимо ягодных полей, и вовсе не

потому, что докучал голод. Это-то как раз для молодого и выносливого организма было пусть и не самой приятной, но всего лишь деталью. Семёна съедала его врожденная страсть к собиранию ягод ли, грибов ли. В колонне он проходил как бы по кромке ликующей природы, а все его естество желало одного: погрузиться в нее, пройти по пружинистому, мшистому ягелю; в счастливом порыве нагнуться над зовущими, провисшими под спелой тяжестью ягодами, подставить снизу пригоршню и, касаясь большим пальцем каждой ягодки по отдельности, сдаивать их в ладонь, наблюдая, как благодарно расправляются освобожденные упругие стебли и продолговатые темно-зеленые листики. Усилием воли он обуздывал это желание, старался не смотреть по сторонам, тушил свой взгляд на серых кепках и стриженных затылках впереди идущих. Но кто бы знал, как скорбела в эти минуты его мятежная душа!

Вольнонаемные и лагерная обслуга в благодатные деньки все свободное от службы и работы время паслись с разнокалиберной посудой на ягодных плантациях. Шла кипучая заготовка впрок витаминных даров севера.

В начале августа Семёна наконец-то расконвоировали. «Рыжье» и спирт, переданные через вертких людишек в нужные руки, чрезмерно способствовали этим самым рукам вывести правильные слова на характеристике трехфамильного заключенного. И стал-таки авторитетный лагерный мужик бесконвойным. Теперь он ходил что за колючкой, что по другую сторону ограды, на прииски без дышащего в спину охранника. И пусть иллюзорная воля была четко ограничена лагерем, прииском и каменистой дорогой между ними, но все равно это был глоток свежего воздуха после череды затхлых лет, спрессованных и кандалных.

— Слышал я, Сеня, умелец ты по сбору разных ягод, — рябоватый конвоир явно старался придать своему грубому прокуренному голосу мягкую доверительную интонацию. — У меня есть к тебе предложение. Завтра группа заключенных под моим присмотром отправляется на заготовку дров. Я похлопочу, чтоб и тебя включили в нее. Но у меня два условия. Первое — я даю тебе два ведра под бруснику, ты

набираешь: одно — тебе, только потом посуду верни, второе — мое. Другое условие — коль ты попадаешься за сбором ягоды начальству, — я тебя не посылал, отмазывайся как сумеешь сам. Идет? Вот и ладушки, будем считать, что столкнулись.

Наутро так и вышло. Шагал Семён в колонне эков с пилами и топорами, за спиной у него во вместительном вещмешке позвякивали пустые ведра. От деляны в лесистой лощине до брусничника на солнцепеке хоть и рукой подать, да только ведь это уже запретка, даже и для бесконвойных. Ну да где наша не пропадала! А ягодка-то рясная, отборная! Вот она забарабанила дробью по дюралевому дну первого ведерка, да так мелодично и звонко, что душа Семена радостно подхватила этот извечный бесхитростный мотив, и он стал тихонько напевать старинную русскую ямщицкую песню, сюжет которой хоть и драматичен, но вместе с тем и светел:

— *Почему ты, ямщик, перестал песни петь,
Приумолк и какой-то угрюмый?
Колокольчик вдали продолжает звенеть,
Но тебя не слышать, друг мой милый.*

— *Это было давно, год примерно назад,
Вез я девушку трактом почтовым.
Круглолица она и, как тополь, стройна,
И покрыта платочком шелковым.*

*Попросила она, чтоб я песню ей спел,
Я запел, и она подхватила.
Кони мчали стрелой по дороге степной,
Словно гнала нечистая сила.*

*Вдруг жандармский разбезд
перерезал нам путь.
Тройка наша как вкопана встала.
Кто-то выстрелил вдруг прямо
в девичью грудь.
И она, как дитя, зарыдала...*

Только допел этот куплет, забывший о том, где он находится, Семён, как и впрямь грянул гулкий выстрел. И второе свободное пока ведро, стоящее в траве, выше того места, где он

еще секунду назад собирал спелую ягоду, сбитое пулей, покатилося по склону. Семён вжался телом в землю, а мысль чиркнула сознание: бесполезно всё, коль ты как на ладони на этой злополучной брусничной поляне, видно, вторая пуля уж точно будет твоей. Однако вместо выстрела раздался зычный и хриплый рёв все того же кума со шрамом через щеку: «Руки — за голову! И медленно спускайся ко мне!» Семён прошел мимо перевернутого с рассыпанной брусничкой ведерка и стал спускаться по склону, сцепив руки на затылке и глядя прямо в свирепые глаза начальника лагеря. Странно, но чувства страха Семён не испытывал. Было жалко потоптанной, помятой ягоды и незадачливого конвоира, потерянно стоящего рядом с кумом.

— Кто позволил тебе на вверенной мне территории самовольничать? — начальник сверлил своими безжалостными глазами подошедшего зэка. — Или это надо понимать как репетицию побега?! Так знай: от моей пули еще никто не уходил! Марш в карцер! А вам, сержант, на первый раз я делаю устное замечание. И впредь чтобы подобного не повторялось. Бдительность не терять!

Начальник лагеря еще раз окинул свирепым взглядом Семёна, стоящего теперь между двумя автоматчиками, круто повернулся и бодро зашагал по дороге в сторону лагеря, вышки которого торчали вдали, над невысокими елями и осинами.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

«А ТЫ ЗНАЕШЬ, НА АЛТАЕ-ТО РЕЗНЯ!»

Этого рослого горбоносого чеченца Семён знал еще по сусуманской пересылке. Тогда в неспешном разговоре за карточной игрой выяснилось, что они будто бы даже и земляки: только вот Семён ушёл в свое время от риддерских ищеек, а Иса судом этого городка был приговорен к восьми годам лагерей за драку и поножовщину.

В конце войны самонадеянный Сталин решил-таки, как он полагал, вековечную кавказскую сумятицу — взял и вырвал с корнем целые народы, которые не без определенной

прозорливости еще Лев Толстой сравнивал с колючим, в ярких цветках, татарником при дороге. А «мудрый Иосиф» мановением великодержавной руки не нашел ничего более умного, как развеять живучие и злые семена упомянутого растения по всей России-матушке. Так, к примеру, во всех мало-мальски приспособленных к быту местах Рудного Алтая: в горной тайге на лесозаготовках, в рудничных поселках и городках под пристальным оком военных коммандатур и отделов милиции теперь расселились изгнанные из родных гор общины чеченцев. Жили они вначале замкнуто, скрепленные между собой прежде всего суровым уставом горцев, ну и, конечно, горькой участью невольников режима. После войны им дали послабление, выразившееся в свободном перемещении по населенным пунктам, где они находились под надзором. <...> Участились грабежи и разбои на улицах городков и сёл, а через те кварталы, где обосновались переселенцы, стало опасно проходить даже среди белого дня. <...>

— Земляк, отойдем в сторонку, базар есть, — в черных глазах Исы Семён прочитал напряженное смятение, чего раньше с чеченцем никогда не случалось. Отошли под навес барака, и тут Иса тяжело выдохнул: — Резня у нас на Алтае неделю назад была. Один знакомый телефонист из охраны шепнул. Войска вводили, говорит. Что там сейчас творится? Кто жив, кто нет?..

А случилось следующее <...> теплым июльским днем в привокзальном пивном павильоне Риддера.

Эта пивная была на хорошем счету у любителей «Жигулевского», поскольку находилась недалеко от пивзавода, снабжавшего ее всегда свежим и холодным напитком. Вот и сегодня только что поменяли бочки, из-за этой заминки narосла очередь, но мужики — а были здесь в основном набервованные со всего Союза на риддерские рудники бывшие фронтовики — терпеливо ждали открытия долгожданного окошечка, чтобы наконец-то получить из пухлых ручек разбитной и румяной Надюшки пару пенистых гранёных кружек. Окошко распахнулось, и первые счастливицы начали отхо-

доть к стойкам, торжественно пронося мимо очередных вождённое пиво и сушёную рыбку в бумажных свертках. Безмятежную картину отдыха горняков после рабочей смены сломала группа задиристых чеченцев, с гогом и выкриками ввалившаяся в павильон. Самый дерзкий из них сразу направился к окошечку, уверенно отодвинул стоящего первым низкорослого мужичка и ослепительно осклабился, наклоняясь к продавице.

— Надюша, мнэ как всёгда. Только, дэвушка, болшэ пива, мэншэ пэны!

Очередь зашумела. <...> Вперед вышел крепкий дядька с проседью в русых волосах и якорем, выколотым на сжатом кулаке правой руки.

— Встань в очередь, герой! — голос мужика был спокоен и тверд. — Людей надобно уважать, сынок.

— Ах ты, старая баржа, — чеченец мгновенно вспилел. <...>

И он чуть сбоку, метя в печень противнику, ударил ножом. Но в последнюю секунду неуловимым движением перехватив волосатую руку, крепыш мгновенно подвернул её лезвием в живот чеченцу и вдавил нож в подрагивающую плоть врага. Чеченец взвизгнул и, обмякнув, рухнул на заплеванный пол. Группа, пришедшая с ним, ошетижилась ножами и стилетами и бросилась на невозмутимого мужика. <...>

В этот же день кровавые волны резни прокатились и по областному центру Усть-Каменогорску. <...> Полыхнули горняцкий Зыряновск и хлебобобовая Шемонаиха. Ночью во все эти города были введены войска и объявлен комендантский час. Результатом стихийного бунта стали заполненные изуверченными телами городские морги, десятки осужденных с обеих сторон. <...> К счастью для Семёна, никто из родни во время жуткой и замалчиваемой властями резни не пострадал.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ЛАГЕРНАЯ ПОЛИТГРАМОТА

И еще одну лютую колымскую зиму перемог Семён со товарищи по золотиносной ка-

торге. Теперь он числился в прочных старожилах. Ничего особенного в эти суровые снеговей не случилось в их лагере, если не брать во внимание февральское противостояние мужиков с урками.

Изрядно обесцветилось сословие блатных за последние несколько лет. Кто-то из авторитетов отошел в мир иной, кто-то ссучился. У всех на памяти было недавнее событие, когда двое бывших воров в законе — Иван Костыль и чеченец Ваха — якобы встали на путь исправления. Эта широкая рекламная кампания была организована политотделом Дальстроя. А суть ее заключалась в том, что двое ссучившихся воров под усиленной охраной ездили по разбросанным аж до тундры лагерным пунктам и агитировали блатных немедленно рвать со своим прошлым, сулили бывшим корешам молочные реки с кисельными берегами, если те, конечно, перейдут на их «правильную» сторону. Но, как поется в одной полузабытой песенке, «недолго музыка играла, недолго фразер танцевал». В конце четвёртой недели пропагандистского «турне» нашли активистов в комнате одной из поселковых гостиниц с отрезанными головами. Причем и двое часовых при дверях, и отдыхающая смена охранников в соседней комнате во главе с политруком, отвечающим за это агитационное мероприятие, ничего не заподозрили и никого не заметили. А ларец открывался просто. Чрезвычайную комиссию, перешушавшую и перебравшую буквально все, до чего могли дотянуться руки, вдруг осенило проверить на надёжность не только окна и стены, а и деревянные, из сосновых досок полы. Две широкие струганные плахи легко поддались, и членам комиссии открылся сухой и тесный лаз, который вел к дальней завалинке, в ней-то и находилась дощатая задвижка, искусно присыпанная снаружи, со стороны леса, снегом. Умельцев, как ни тшились, не отыскали.

Однако брожение среди блатных расплодилось по лагпунктам, уже и сивки лезли в рулевые, и шестёрки, которым здесь, на северах, имя было — «двенадцать пополам», мордовали теперь не только политических, а и доходяг-мужиков, чтобы те выполняли норму уже и за них. Схожая обстановка царилa и в том лаге-

ре, где зимовал Семён. Шакальё зверело, урки проигрывали в карты не только телогрейки мужиков, но даже ватники и нижнее бельё соседей по бараку.

Два раза в неделю, после обеда, экам выпадала краткая передышка. Либо замполит, либо сам начальник отряда проводил с ними политзанятия, где вслух прочитывались статьи из партийной газеты «Правда».

— ТАСС сообщает... — торжественным громким голосом начинает попка-замполит, окидывая самодовольным взглядом стриженую под ноль аудиторию, и с чувством продолжает: — Заключённые одной из американских тюрем в знак протеста против нечеловеческого обращения с ними охраны объявили голодовку. Вся прогрессивная общественность Америки глубоко возмущена вскрытыми фактами издевательств тюремной администрации над бедными заключёнными. Советский фонд мира выражает солидарность с голодающими и клеймит американских наймитов империализма.

Колымские ээки, которых попка-замполит приглашает проявить пролетарскую солидарность с заокеанскими «коллегами» по неволе, угрюмо отмалчиваются. Но замполит настаивает, и тут не выдерживает, поднимается со своей лавки Семён.

— Дорогой наш гражданин начальник, — так же торжественно начинает он. С аудитории будто невидимая рука снимает воздушное покрывало легкой дремоты, ээки переглядываются: что-то отчебучит сейчас их неуёмный товарищ, — мы тоже, как и советский фонд мира, глубоко скорбим за наших друзей по несчастью в Америке, мы с ними во всем солидарны, так и запишите, гражданин начальник. А еще напишите, ежели вас не затруднит, нашу просьбу: пусть в знак пролетарской солидарности все те пайки, от которых отказываются американские ээки, они перешлют нам сюда, на Колыму. — Семён перевел дух и закончил: — А то ведь мы уже семнадцатый день не видим даже мёрзлого хлеба, одна пустая баланда с сушёной картошкой.

— Ты что себе позволяешь! — замполит властно поднял правую руку, чтобы перекрыть

гул недовольства, прокатившийся по бараку. — Ты почему заостряешь вопрос на наших временных задержках с доставкой продуктов в лагерь. Всем известно — зимники перемело, бури-то какие ломали здесь всё! Через день-другой дорогу расчистят и всё уладится. А ты, Манаков, льёшь воду на мельницу врага, это тебе даром не пройдет.

Но, видимо, остатки совести где-то на доньшке замполитовской души еще поплескивались. Это дерзкое, по сути, антисоветское выступление Семёна дальше лагеря не ушло.

А быть может, разверстке политического дела помешали события, начавшиеся в зоне на другой день. С какой оказией и кто передал блатным из недалёкого вольного поселка фляжки со спиртом, тушёнку, галеты, осталось тайной, но к вечеру урки были навеселе, ну, а весёлых да сытых хлебом не корми, а дай поревизиться.

— Лапотники! Выходь на средину барака, — щербатый ухорез Чекмарь, пьяно пошатываясь, пробовал построить мужиков для одному ему известного спектакля. Подходил к нарам, стаскивал и сбрасывал на пол недавно пришедших с прииска ээков. Оголодавшие от пустой баланды, уставшие от кайлы мужики покорно сгрудились под тусклой лампочкой. — Я предлагаю вам честную игру в «очко», с каждым — отдельно. Условия такие: мой выигрыш — ваша жизнь, если кто из вас обыграет меня — кружка спирта тому. Я как честный вор даю вам фору: можете бросить жребий, кто первый со мной сразится. Время пошло!

Блатные, рассевшись на ближних нарах, одобрительно загудели: мы-де тоже имеем желание поучаствовать и нам бы тоже по мужику для игры!

Семён уже укладывался спать, когда к нему подбежал запыхавшийся Валентин и сбивчиво рассказал о том, что творится в их, соседнем с Семёновым, бараке. Раздумывать было некогда. Значит, последней капле быть кровавой. Семён собрал мужиков, послал троих оповестить в другие бараки, сказал, чтобы брали в руки всё, чем можно резать, бить, и злые решительные мужики ворвались в барак, где уже

начали разыгрывать жизни доходяг. Большое дело — единый порыв. Через десять минут все лагерные урки, избитые, без шапок, в разорванных кофтьнках и пиджаках были вытолканы на мороз. Зачинщик Чекмарь окровавленным мешком остался лежать посередине опустевшего барака.

Всполошилась охрана. Ослепительные лучи прожекторов расчерчивали стылое пространство, озлобленно лаяли овчарки. Огромная толпа мужиков, подгоняя пинками и тычками ополоумевших блатных, гнала их прямо на хорошо освещенную вахту, к воротам, у которых густой цепью встали автоматчики во главе с позеленевшим от злости кумом.

— Гражданин начальник! Отворяй ворота! Дай нам выбросить из лагеря эту поганую нечисть! И не вздумай стрелять! Нас тыща, все сметём! Даём тебе минуту на размышление, а потом всех урок мочим прямо здесь!

Нехотя, с тяжёлым скрежетом раскрылись ворота, и блатные сломя голову бросились прочь из зоны, туда, где хоть и лютый мороз, да есть шанс выжить.

Два дня бузила зона. Два дня урки стили на снегу, согреваясь горячим пойлом в наспех натянутых палатках. Ультиматум мужиков был прост: любого блатного, вернувшегося на территорию лагеря, сразу же и кончат. На третий день подъехала колонна грузовиков, обмороженных блатных погрузили и развезли по другим лагерным пунктам.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ШИЛА В МЕШКЕ НЕ УТАИШЬ

Пришло время поведать и о судьбе двух стукачей, скостивших себе сроки ценой жизни бывших поделщиков.

Март 53-го года. Утро. Морозный воздух настолько разряжен, что при выдохе глухо звенит пространство, а плевки замерзают на лету и о наст стучат уже окатышами. Сумрачная колонна заключенных угрюмо переминается на обледеневшем плацу, исподлобья наблюдая, как не менее сумрачное — у многих почему-то припухшие и заплаканные глаза — руководство лагеря стягивается к низенькой, припоро-

шенной снегом трибуне. Зэки с недоумением замечают, что даже сам свирепый кум в какой-то необъяснимой растерянности. Напряжение нарастает. Начальник лагеря выходит вперед и нерешительно стягивает шапку с кокардой. Вслед за ним обнажают свои головы и остальные офицеры.

— Пятого марта перестало биться сердце вождя всех времен и народов, великого нашего учителя Иосифа Виссарионовича... — куму не хватило дыхания, он всхлипнул, собрался с силами и почти выкрикнул: — Сталина!

Ошеломляющая тишина длилась секунд пятнадцать и неожиданно лопнула мощным рёвом «ура-а!», слышимым далеко за лагерной высокой оградой. Помятые ушанки заключённых дружно полетели вверх. Люди ликовали. У опешивших потерянных офицеров вытянулись лица. Они еще с пяток минут помялись на плацу, и кум прорычал:

— Сегодня в связи с кончиной вождя первого в мире социалистического государства объявлен всесоюзный траур, работ никаких не будет, дисциплинированно расходитесь по баракам.

Ветры перемен коснулись и этой, казалось бы, давно и бесповоротно закореневшей от боли и смертей неласковой северной земли. К лету подгадала первая — бериевская — амнистия. Затем начали пересматриваться дела так называемых «врагов народа». Репрессивная пролетарская машина, как всегда увешанная крикливыми лозунгами и призывами, стала давать задний ход, выплёвывая на волю заглоченных ранее, да покуда уцелевших, как еще не так давно говаривал почивший наместник вождь, «временно изолированных». Так он выразился однажды в ответ на дотошный вопрос одного из иностранных корреспондентов, когда тот запальчиво спросил: сколько, мол, миллионов советских людей томится в тюрьмах и лагерях? Сталин ухмыльнулся в свои знаменитые усы и как всегда мудро и с расстановкой ответил: «Господин журналист должен бы знать, что в победившем фашизм СССР нет заключенных, а есть только временно изолированные граждане». И пожурил того, что,

дескать, надо бы более дружелюбно относиться к стране-союзнице. И все присутствующие на пресс-конференции отодвинулись от этого корреспондента, как бы осудив тем самым незадачливого выскочку. По крайней мере, так растолковывал колымчанам уже известный нам попка-замполит.

Бурливая речка Быструшка, к середине лета мелея, отступала от обрывистых, подьеденных паводками берегов. В успокоившихся омутах, будто в глубоких тёмно-синих блюдцах с неровным окоёмом серого галечника, на дне ворочались тяжёлые налимы и таймени, по серебристым, переливчатым стремнинам, соединяющим эти омуты, взмывали вверх по речке проворные хариусы. Заядлые рыбаки из вольнонаемных днями пропадали на Быструшке. И вот как-то под вечер трое из них перебрались через шивера по перекаату и вылезли на мелкотравчатую прибрежную полянку, в глубине которой перед светло-зелёной стеной листвяжного подлеска стояла могучая сосна. На одной из нижних толстых веток её, хорошо видимые от реки, висели два мешка. Рыбаки заинтересовались, что бы это могло быть в столь отдалённом и нелюдимом месте. Подошли, глянули и в ужас отпрянули: мешки были в тёмных пятнах от засохшей крови и густо облеплены жирными мухами. Да вдобавок от них пованивало так, что не каждый выстоит рядышком.

Прибывшие наутро из лагеря замполит, фельдшер и охранники с командой заключённых обрезали веревки, осторожно положили мешки на траву и раскрыли их. Окровавленные тела были голыми и исколоты, скорее всего, шилом, потому что раны мелкие, частые, напоминающие сито в бурых подтёках. Однако распухшие лица с обкусанными липовыми губами были узнаваемы — ни одного укола шила на них не видать. Замполит, когда пригляделся к убитым, в сердцах матюгнувшись, сплюнул, отошёл в сторонку и уже больше не приближался, похаживая по-над речкой и временами досадливо сбивая прутиком головки скупых северных цветков. В трупах он признал тех двух «красных шапочек», что так тщательно оберегались лагерным началь-

ством на протяжении полутора последних лет. И ведь освобождены-то они были чуть ли не втайне, и зону покидали вроде бы без особой огласки, подгадывали так, чтобы никого в этот день из освободившихся не выпускали из лагеря, под разными предлогами перенесли им день выхода на волю. Но все равно варнаچه как-то вышло и подкараулило. И где сейчас искать убийц, когда сегодня по бесчисленным хреновым амнистиям эки пачками покидают лагеря. Да, жалко ребят, такими преданными псами служили и так зорко углядывали всякую мелочь в зоне, так красиво рапортовали, видно, такой страх сидел в печёнках за предательство и смерть своих поделщиков, что лучше и не придумаешь. Верили, надеясь, что огордим и спасем их от расплаты, да вот не уберегли. Э-хе-хе. И замполит, ожесточенно сбив очередной цветок, вернулся к сосне, где заключённые уже прихлопывали лопатками небольшой холмик, под которым в мелкой могиле — мерзлота не дала вырыть яму на положенную глубину — нашли последний приют двое бывших блатных.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. «Я ЭТОГО ГАДА ЗНАЮ»

Прошёл еще один год послабухи. На Колыме теперь бывало различных комиссий и делегаций, наверное, больше, чем назойливых мух в вонючих хозблоках. Зимой Семёна перевели из их отдалённого от трассы лагеря в лагерь ближе к Сусуману, что означало по неписаным колымским законам грядущий пересмотр личного дела и возможное досрочное освобождение. Еще с осени окончил он при зоне краткосрочные курсы бульдозеристов, пригодился опыт работы с механизмами на Рубцовском танковом, опробовал на карьере, вгрызаясь стальным ножом в подорванную тротилом мерзлоту, силу гусеничного Т-50. Тогда же чуть было из-за этой железной громадины не отдал богу душу.

В негаданную декабрьскую оттепель они с напарником меняли лопнувшую звездочку на тракторе. Домкратом приподняли махину, подложили под ось деревянные колодки, и Семён

заполз под днище, откуда сподручнее выбивать заклинившую переднюю звёздочку. Лишь два раза успел он ударить кувалдой с короткой ручкой. Звёздочка вроде бы подалась, но тут же накренился и весь бульдозер — вытаяла земля под одной из колодок — катки вдавились в рыхлый снег, и угол днища больно вжал через ватную телогрейку грудь Семёна в подтаявшую мерзлоту. Затрещали ребра. Перехватило дыхание. Если бы и дальше трактор продолжил свое сползание с колодок, Семёна бы раздавило как щепку. Но махина замерла. Перепуганный не на шутку напарник с минуту бестолково бегал вокруг бульдозера. Семён, пересиливая боль, прохрипел: «Давай за подмогой, не выдержу!» Парень убежал к бревенчатому гаражу, и скоро подъехал допотопный кран, место происхождения заполнили бесконвойные заключенные. Они деловито пропустили под днищем предусмотрительно захваченное с собой толстое бревно, чтобы трактор не смог вдруг продолжить сползание, после этого продёрнули трос под обеими наклоненными осями, и кран осторожно начал выравнивать бульдозер. Как только стало возможным, мужики бережно извлекли Семёна из-под нависшей над ним громадины и на куске брезента вчетвером понесли его в санчасть. Врач определил: месяц находится Семёну в лазарете на голых досках без подушки и матраца — кроме ссадин и синяков были сломаны два ребра слева, а чтобы кости правильно срослись, нужна была жесткая постель.

Тяготно вылеживать такому человеку, как Семён, без дела, и он, как только почувствовал, что вроде бы что-то там внутри срослось, стрёб в сидор манатки и вернулся в барак. Вопросительно глянувшему на него отрядному он небрежно бросил: в лазарете, мол, мне скверно, жутко тошнит от запаха карболки, так что принимай назад, командир. Отрядный кивнул и поставил Семёна на довольствие. Он знал, что этот настырный зэк все делает по-своему. Так, пару зим назад был с ним чудной случай, о котором потом с некоторым удивлением рассказывали в лагере. Возвращался однажды поздно вечером из поселка Семён, а ходил он тогда расконвоированным. Путь лежал через

участок, где только что нарыли глубоких разведывательных шурфов — метр в ширину, два в длину и до десятка метров вниз. Ночь тёмная, хоть выколи глаз. Семён понадеялся на свою зрительную память, да и в лагерь надо было успеть до вечерней поверки, поэтому не до бдительности, а лишь топай да топай подшитыми пимами по хрустящему снегу. Вот и рухнул камнем, как в пропасть, в свежий шурф, только свистнуло в ушах. Но в последнюю долю секунды инстинктивно успел Семён распереться по отвесным и стылым глиняным стенам локтями и коленками. Пока доехал до дна, стёр новые ватники на ногах и телогрейку в рукавах до дыр, а локти и колени прожёл до костей. Зато остался жив, правда, ночь протомился внизу, поминутно прикладывая иззябшие ладони то к нестерпимо ноющим и кровоточащим локтям, то к подкашивающимся онемевшим коленям. Утром зэки, приготовившиеся к спуску в шурф для продолжения рытья, ахнули, конвойные лишь покачивали изумленно головами, увидев вытащенного на верёвках из земли арестанта, которого уже успели объявить сбежавшим. Дивились, как он остался, низвергнувшись с такой высоты, жив, может, поэтому даже и в карцер не поместили, а от лазарета, после того как были перевязаны бинтами раны, Семён и сам наотрез отказался.

Приходилось Семёну здесь, на севере, самому себе вырывать больные зубы. На четвёртый год одолела его цинга. Зубы гнили, выкрашивались, выпадали. А этот коренной вверху справа вроде бы и разрушился, да, видно, корень оказался крепким, а вот нерв оголился. До того стало Семёну невмогуту, что хоть лезь на стенку, да кабы помогло! Промаялся день, к ночи думал, с ума сойдёт. Наконец собрался с силами и доковылял до соседнего нежилого барака, приспособленного под сапожную мастерскую. На северах так заведено: сапожники днем спят, ночью, покуда зэки отсыпаются, чинят им обувь. Семён поздоровался с мужиками и попросил у одного из них плоскогубцы. Отошел в тень, достал из кармана початую бутылку спирта, полил горько напавнувшей жидкости на инструмент, давясь, отхлебнул большой глоток и сунул рифленые концы в десны. Нашупав и

захватив корень, сдвинул обмотанные липкой чёрной изоляцией ручки плоскогубцев и резко дернул их изо рта. Боль вспышкой ударила в голову, полость рта наполнилась солоноватой слюной, зато корень вместе с волокнами дёсен можно было рассмотреть теперь под жестяным абажуром тусклого ночника. Остаток спирта выпили с сапожниками за здоровье всех присутствующих. Через неделю ранка во рту затянулась.

В придорожных перламутровых майских сопках с самого солнечного утра неведомая пичуга выводила простенький напев, мелодия которого напоминала звонкую и однотонную фразу: «скоро домой, скоро домой». Семён и двое бесконвойных мужиков распиливали на деляне сучковатый сушняк на чурки. Стаскивали валежник и разделявали, уже выросла внушительная горка дров. Мужики были мало-знакомые, но вроде от работы не отлынивали. Раскряжевав очередную лесину, присели покурить — и вот оно, начальство лагерное. Мужикам было известно, что в зоне сменился кум, но в лицо нового начальника лагеря до сегодняшнего дня никто не видывал. А он сразу взял быка за рога — начал с обхода приисков и прилагерных делян. Мужики встали, сдернули кепки с голов, сигарки подвернули в горсти. Но кум со свитой прошествовали мимо, лишь мельком глянув на вытянувшихся эсков, начальство торопилось на карьер, что в метрах пятидесяти, за болотистой ложиной. Только они миновали эсков, у Семёна невольно вырвалось: «А ведь я этого гада знаю! Нелюдь!» Да и как было забыть ему того свирепого, со шрамом во всю щёку офицера, что когда-то расстрелял порожнее ведро на брусничном склоне. Соседи по деляне молча переглянулись и взялись за пилы.

Вечером в барак пришёл дневальный из срочников и велел Семёну следовать за ним.

— Ну, что? Видно, зря я тогда пожалел тебя, надо бы пристрелить. Ягодник хренов! — хрипло прорычал кум, лишь только Семён переступил порог его кабинета. Жесткое лицо начальника налилось кровью, безжалостные

глаза так и сверлили заключенного, спокойно встретившего эти пустые молнии — времена на дворе нынче не те, и об этом знали они оба. — Ты думаешь, руки у меня сегодня коротки? Ох, как же ты ошибаешься! Эти либеральные игры скоро закончатся, и уж тогда-то я тебя найду! От меня еще никто не уходил! А теперь пошёл вон!

Семён смерил долгим взглядом взбешенного кума и вышел из кабинета.

Утром Семёна уехали на самый отдалённый лагпункт, где он пробыл в северной тайге безвылазно восемь месяцев, пока в январе 1955 года прокурорские о нем не вспомнили. Был пересмотр дела, суд, амнистия, а коль нет поражения в правах, то хоть сейчас езжай на материк. Ты свободен!

Кто из двух пыльщиков вперед донес на него куму, этого Семён не узнал никогда.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. ХОРОША ТЫ, КАЧКА В РЕСТОРАНЕ

У юркого ходкого буксира, на который устроился Семён матросом, работы в магаданском порту всегда хватало: то надо срочно вывести в море сухогруз, то проводить до пирса пассажирский лайнер. Иногда буксиру выпадало тянуть баржи в отдалённые посёлки вдоль колымского скалистого побережья. Две цели определил для себя Семён, идя в матросы. Первая — заработать денег, поскольку тех, что при освобождении дали в лагере на дорогу до материка, давно уже и след простыл. Вторая, и основная, цель заключалась в том, чтобы всякими правдами и неправдами попасть в закрытый режимный город Владивосток, а там каких-то пару часов до Находки, где еще в тридцатых годах нашла себе приют раскулаченная семья старшего брата матери, Семёнова дяди, Константина Андреевича Лукиных. Их адрес сообщила Мария в одном из своих писем на Колыму.

Экипаж из десятка матросов в просоленных бушлатах и тельняшках, с весёлым капитаном и молчаливым требовательным боцманом Семёну пришелся по душе. Люди были разные, некоторые, как и он, недавно из-за колючки,

в работе — настырные, в гульбе — бесшабашные.

Как-то выпала их буксире передышка. А коли есть окошко в деле, айда, братва, кому очередь на берег. Сборы недолги, шлюпка ждать не будет. Гоните, братцы: ты, Петро, — штиблеты, они у тебя лакированные, ты, Серега, — пиджак свой твидовый, а ты, Сёма, — брюки клеш. В городских кабаках фасонистым особый фарт! Знатно — вдрызг! — гуляли матросы магаданского пароходства. Команда буксира, покачивающегося на приливной ночной волне, вполголоса переговариваясь, ходила по палубе и завистливо вздыхала, не ложась спать. И не только их экипаж, а и остальные суда, ночующие у причала, тоже бодрствовали. Потому что главное действие начиналось за полночь, когда на освещённый фонарями пирс выезжал долгожданный грузовик-самосвал, кузов которого под завязку был набит пьяными до бесчувствия мореходами. Их по всем ресторанам Магадана собирала милиция и везла к тому месту, где они несколько часов назад твердым и жаждущим приключений шагом сходили на берег. Из кабины самосвала высовывался старшина и в рупор прокрикивал: «Капитаны! Разбирай каждый своих! Пока не померзли!» И, повернувшись к шоферу, кивал: давай, мол, выгружай. Кузов медленно поднимался, и пьяные в стельку матросы кулями шмякались на пирс. Шлюпки от всех пароходов скользили к берегу, каждый экипаж отыскивал в шевелящейся куче своих бедолаг и доставлял на борт. Закон морского братства всегда исполнялся неукоснительно. Ведь в следующий раз увольнительная в город может осчастливить и тебя. И тогда уже тебе будут вручены все лучшие вещи, что имеются в личных чемоданчиках у экипажа. Тот, кто сходит на берег, одет должен быть с иголки. И это тоже святое правило морских бродяг.

До мая проходил Семён на буксире. Получил приличные деньги, переговорил с капитаном сухогруза, идущего во Владивосток. Несмотря на то что Семену, как недавнему ээку, въезд в режимные города был заказан, капитан согласился взять его матросом в рейс.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. НАХОДКИНСКАЯ РОДНЯ

Дом за глухим забором на одной из улиц Находки, уходящих в распадки субтропических сопок, Семён отыскал без труда. Постучал бронзовым кольцом в обитые железом ворота. Долго никто не выходил. Семён уж было решил перейти улицу и посидеть на лавочке, прилаженной снаружи у соседей напротив. Но внутри двора что-то звякнуло, громыхнул засов, и ворота чуть приоткрылись. В широкую щель выглянул седобородый дед и негромко спросил:

— Чего тебе надобно, парень?

Семён по синим глазам, высокому лбу и прямому носу узнал постаревшего дядю, у которого он часто с матерью гостил в детстве.

— Не узнаешь меня, дядя Костя? Манаков я — Семён, сын Луки и Капитолины.

— Погоди, погоди, парень. Андрея у Луки знаю, Марию — помню. А вот тебя не признаю.

— Да меньшей я самый. Вас когда ссылали, я пешком под стол еще ходил.

— Погоди, погоди, обличье-то вроде наше. Капы и Луки сынок, говоришь, что ли? Ну, коли так, проходи в избу, гостем будешь.

Вечером, когда из грузового порта вернулись работающие там докерами два сродных брата Семёна — Иван и Николай, в горнице уже был собран хороший стол. На домотканой скатерти среди диковинных салатов из морской капусты и трепанга грудились салаты из редиски в сметане, возлживали зелёные пучки лука с белыми очищенными головками, рядом с мисками красной зернистой кетовой икры соседствовали деревянные долблёные корчажки с дымящимися, изящными, ручной лепки пельменями. Нарезанный кусками, сочащийся каплями вкусного жира палтус горячего копчения был для куража переложен золотисто-обжаренной корюшкой-зубаткой. В ладных берестяных туесах, возвышавшихся рядом с запотелыми графинчиками с холодной, остуженной в голбце водкой, томился такой же студёный брусничный морс. Узорная, плетёная из тала плоская тарелочка наполнилась ломтями домашнего по-

ристого хлеба. Его накануне испекла тетка Лукерья в русской печи, массивный шесток которой был виден в проём двустворчатой резной двери из горницы в куть.

— Со свиданьем, Сёма, — Константин Андреевич в правой руке поднял гранёную на толстой матовой ножке рюмку, при этом левой торжественно оглаживая седую пышную бороду. — Выпьем за то, что как бы нас ни хотели угробить, а мы живы. Страшное колесо проехало по нашей родове: нет Луки, нет сестры, Андрей погиб под Москвой. Царствие им небесное и вечный покой. Где-то в Красноярском крае прижился брат Василий с семьей — не с хотел глядеть, как переделывают, разоряют родимую деревню. А мы сколь хлебнули, когда с малолетними Коленькой и Ванюшей, в чем были, нас утолкали в товарняк и три голодных недели везли как скот, а потом выгрузили в болота под Уссурийском. Чаяли нехристи — сгинем, пропадем. Не вышло по-ихнему. Все мы, слава Богу, сохранились. К концу тридцатых гнёт ослаб, и мы, почуяв это, перебрались сюда, к океану. Оно здесь и сытнее — море кормит, и паспорта выправили себе. А Николай наш, — дед кивнул в сторону внимательно слушающего отца чубатого синеглазого крепыша, — даже и японцев колошматил на Курильских островах. Ване не хватило лет, а то бы тоже помстил косяглазым за русско-японскую 1905 года, когда они отхпали у нас пол-Сахалина с островами. Я хоть и мальцом тогда был, да помню, как ревели бабы, оплакивая убиенных в Мукдене и Порт-Артуре мужей, сынов и братьев своих. Еще раз, Сёма, со свиданьем, и будем здравы!

Спустя неделю, крепко обняв напоследок вышедших проводить его прослезившегося дядю Костю, тётку Лукерью и братьев с их женами, Семён на попутном грузовике, обогнув по объездной дороге Владивосток, добрался до ближайшей железнодорожной станции. Там купил билет в плацкартный вагон до Новосибирска на скорый поезд «Владивосток — Москва», и вот уже колеса выстукивают на стыках немудрёную, но такую душевную мелодию: «Вперёд — домой! Вперёд — домой!»

Сразу проехать в Вишневую Семён решил погодить, а для начала посетить родню на Рудном Алтае.

ЭПИЛОГ

Минуло несколько лет. За это время отец съездил на Южный Урал, где продал родительский дом, а вырученные деньги поделил поровну с сыном Андрея, Юрием, превратившимся за эти полтора десятка лет в высокого плечистого парня. Тётя Мария, которую мы с младшей сестрой впоследствии звали только Лёлей, потому что она была нашей крестной, от причитающейся ей доли отказалась, сославшись на то, что у них с Иваном есть свой дом, а деньги брату и племяннику сейчас нужнее. Сродная сестра отца тётя Стюра познакомила его с нашей будущей мамой, Ниной Алексеевной, с которой она вместе тогда работала на хлебозаводе.

В первый год семейной жизни отец устроился бульдозеристом в геологоразведочную экспедицию, работал по заездам в тайге. А потом, присмотревшись поближе к новому родственнику, родной дядя матери Михаил Григорьевич Лямкин, в прошлом герой-партизан белорусского полесья, а ныне командир отделения военизированного горноспасательного отряда при риддерском полиметаллическом комбинате, крепко похлопотал, и отца взяли в отряд бойцом. И это несмотря на то, что судимость еще не была снята и на левое ухо отец был, как известно, глух с детства. Всё, однако, объяснялось просто. У отца, прошедшего колымские лагеря, полностью отсутствовало чувство страха. Завалы в те годы и аварии на шахте случались едва ли не еженедельно. Порода слабые, осыпи, заколы. В штреке либо на подэтаже в камере обрушение, горняк придавлен кусками породы, надо спасать, нависают, готовые в любую секунду рухнуть, многотонные расшевеленные каменные плиты. В этот ад добровольно вызывались идти бывший армейский разведчик Василий Федорович Антропов и бывший заключённый, мой отец Семён Лукич Манаков. Не один десяток человек спасли эти двое повидавших в жизни всякого горно-

спасателей. Наверное, поэтому на судимости и глухоту отца начальство закрывало глаза. И все восемнадцать лет, что проработал до ухода на пенсию, сначала бойцом, а затем и командиром отделения отец, комиссию по слуху за него ежегодно на профилактических осмотрах проходил в конце сороковых перебравшийся из Вишнёвой сюда, на Рудный Алтай, старший сродный брат Василий.

Сегодня я сам далеко уже не молодой человек. Посмотрел мир, пожил в нём, кое-что пережил. Что-то стёрлось в памяти, забылось, что-то хочется забыть, но есть и такое, при воспоминании о котором ком подступает к горлу, — так жаль того, чего уже никогда не вернуть. А есть и одна особенная картина в моей душе.

Мы жили в пятиэтажном доме в рабочем горнячком поселке на склоне, заросшем черёмухой и берёзами и заканчивающемся крутым обрывом, под которым грохотала горная белопенная река. За нашим домом и рядами кирпичных гаражей, по самой кромке яра предприимчивые горняки понастроили дощатых и шлаколитых сараев. В них держали кроликов, кур, поросят. Был такой сарайчик и у нас. Окна одной из комнат нашей кварти-

ры выходили как раз на эти гаражи и дорогу к ним. Не однажды не видимый отцу я наблюдал через стёкла, как папка идёт по этой земляной, укатанной машинами и мотоциклами дороге с ведром наваристого пойла для наших поросят. Идёт он своей лёгкой походкой, а за ним, весело повиливая хвостом, бежит лохматый бездомный любимец дворовой ребятни пёс Дружок. Отец, конечно же, останавливается, ставит на землю ведро, вылавливает из него куски каши и кладет рядом. Дружок подбегает и, не жадничая, аккуратно подьедает. А в это время из подвала нашего дома, через квадратные отдушины каким-то своим сверхъестественным чутьем уловив, что их благодетель на дороге, выбираются живущие там кошки и, задрав к небу хвосты, радостно бегут к отцу. Он и им кладет отдельно на травку по кусочку. Поднимает ведро и продолжает свой путь к сараю, но теперь уже отец не один, а в окружении почётно-го эскорта из братьев наших меньших.

И вот именно эту картинку я считаю одной из самых трогательных и светлых, из всех тех, что хранятся в моей памяти.

Юрий Семёнович МАНАКОВ

родился в 1957 году на Рудном Алтае, в г. Риддере.

Окончил Иркутский университет.

Работал редактором на радио, в газетах и мн. др.

Поэт, прозаик. Публиковался в журналах «Сахалин»,

«Сибирь», «Алтай», «Простор», «Молодая гвардия»,

«Москва», «Наш современник», «Братина» и пр. Автор

книг «Сердцем причастен», «Алтайский притор»,

«Обронила синица перо из гнезда», «Пригоршни талого света», «Таёжных кражей родники»,

«Костерок под отвесной скалой» и др.

Лауреат поэтического конкурса «Золотое перо»

(2008), Всероссийского поэтического конкурса имени

С. Есенина в номинации «Звени, звени, золотая Русь!»

(2021), Международного конкурса имени П.П. Ершова

(2024), дипломант первой степени Православного

Татьянинского творческого конкурса (2015).

Член Союза писателей России.

